



Образ водного пространства в произведениях И. С. Тургенева

*О. М. БАРСУКОВА,
кандидат филологических наук*

Среди “сквозных” образов и мотивов тургеневской поэтики образ водного пространства – один из самых заметных. Он многократно встречается у писателя в произведениях разных жанров, часто появляясь в эпизодах, представляющих собой драматические или даже трагические моменты в жизни героев.

Образ водной стихии варьируется в отдельных произведениях, принимая разный облик. Это может быть река, пруд, море. Вода может быть спокойной, тихой или быстротекущей, взволнованной, бурной, угрожающей. Возможно просто упоминание о каком-либо реальном водоеме, на берегу которого происходит действие или один из его моментов (например, сцена свидания Рудина и Натальи на берегу Авдюхина пруда). Иногда образ реального водоема, на берегу которого совершаются события, в ходе повествования вырастает до символа. Так, в “Накануне” сначала описывается прогулка по Царицынскому пруду,

а затем трансформированный образ того же пруда появляется в символическом сне Елены. Сну Елены подобен сон Аратова в “Кларе Милич”.

Этот образ может быть соотнесен с общей проблематикой произведения; его роль может быть существенной или эпизодической. Рассмотрим, как он видоизменяется в некоторых произведениях Тургенева.

Проблематика повести “Затишье” включает и картину жизни русского провинциального дворянства, и тему “лишнего человека”, но для нас важна доминанта повести – тема любви. Марья Павловна – раба любви. Не случайно ее так завораживает пушкинский “Анчар” (“И умер бедный раб у ног непобедимого владыки”). Марья Павловна, в отличие от Лизы и Елены, не боится любить, нет в ней и сознания вины, ее чувство непосредственно и не сковано рефлексией. И тем сильнее возмездие, ожидающее ее.

В “Затишье” все события, касающиеся героини повести, происходят на берегу пруда. Несомненно, что в конце повести, ассоциируясь с гибелью героини, этот образ обретает новое, символическое значение: “Странны и страшны казались движения их и их теней во мгле над взволнованным прудом, при неверном и смутном блеске фонарей” (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.–Л., 1960–1968. Т. VI. С. 152; далее только том и стр.); “...Пруд плескал и шумел, чернея грозно” (VI, 151).

Рассматривая “Затишье” в общем контексте творчества Тургенева, мы можем углубить понимание символического значения этого образа. По Тургеневу, любовь неразлучна с бездной, она сама – бездна. Образ водной стихии, подобно метафоре бездны, представляет здесь враждебные человеку силы бытия, одна из которых – смертоносная сила любви.

Образ водного пространства связан с символикой названия повести. Поверхность пруда отражает в себе все окружающее, жизнь людей, идущую на его берегах. Важно то, что повесть не кончается гибелью героини, эта катастрофа не нарушает картины “затишья”. “Поверхность” жизни, подобно поверхности воды после падения в нее камня, восстанавливается, затишье продолжается и после гибели героини, ничто не указывает на драмы, таящиеся в глубине.

Сходные мотивы обнаруживаем в “Дворянском гнезде”: “Следы человеческой жизни глохнут очень скоро” (VII, 188).

Некоторые герои повести словно пребывают во сне (Астахов, Ветретьев, который будто силится пробудиться, но не может). Затишье дурманит этих людей, лишает их духовных сил. Повесть заканчивается картиной ровной поверхности жизни, подобной поверхности воды.

Подстерегающие человека тайные силы жизни, враждебные ему и обладающие роковой властью над ним, для героя повести “Вешние

воды” тоже воплощаются в образе водного пространства: “Не бурными волнами покрытым, как описывают поэты, представлялось ему жизненное море – нет; он воображал себе это море невозмутимо гладким, неподвижным и прозрачным до самого темного дна; сам он сидит в маленькой, валкой лодке – а там, на этом темном, илистом дне, наподобие громадных рыб, едва виднеются безобразные чудища: все житейские недуги, болезни, горести, безумие, бедность, слепота...” (XI, 8).

Те же тайные силы в своем проявлении сравниваются с потоком, влекущим лодку, в “Призраках”: “Я как будто попал в заколдованный круг – и неодолимая, хотя тихая сила увлекала меня, подобно тому, как, еще задолго до водопада, стремление потока увлекает лодку” (IX, 80). В рассказе “Стук... стук... стук...” есть маленькая деталь: “Теглев рассказывал мне, будто родителям его, за несколько дней до их гибели все чудился шум воды” (X, 273). В рассказе “Бежин луг”, действие которого происходит на берегу реки, все страшное и таинственное в сознании крестьянских детей тоже оказывается каким-то образом связанным с водой. В стихотворении в прозе “Конец света” эсхатологическая бездна оборачивается океаном, в смертоносных водах которого находят конец последние из людей.

Для выявления значения этого образа очень важно стихотворение в прозе “Морское плавание”. Человек и маленький зверек тянутся друг к другу, равно незащитные перед враждебной им природой, выходящей здесь в образе грозной морской стихии. “Все мы – дети одной матери”, – заключает автор (XIII, 195).

Образ водного пространства соотносится с природным началом, противостоящим человеку, с враждебными ему стихийными силами бытия, он, можно сказать, наделен отрицательным потенциалом по отношению к человеку. Между тем диапазон его частных значений гораздо шире. В романе “Дворянское гнездо” есть эпизод пребывания Лаврецкого в Васильевском. Герой погружается в атмосферу деревенской жизни, оказывается неожиданно близким к природе, которая как бы вводит его в свой круг, являясь исцелительницей его душевных ран, источником духовных и физических сил, нравственного здоровья. Это момент обретения героем почвы. «“Вот когда я на дне реки, – думает опять Лаврецкий. – И всегда, во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь, – думает он, – кто входит в ее круг – покоряйся: здесь не зачем волноваться, нечего мутить; здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши!” {...} В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь; здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам; и до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душе, как весенний снег...» (VII, 190).

Разделение и противопоставление жизни людей и природы, намеченное в “Поездке в Полесье”, тоже часто дается Тургеневым через образ водного пространства. Жизнь человеческую писатель представляет себе идущей на поверхности потока, там течение быстрое, встречаются водовороты. Вся “беспокойная людская зараза” – на поверхности. Дно водоема устойчиво ассоциируется у Тургенева с царством природы, там равновесие, тишина, таящая в себе огромные силы. Со дна водоема на человека поднимаются “все житейские недуги, болезни, горести, безумие, бедность, слепота” (XI, 8); “что-то гремящее, грозное поднимается со дна” (VIII, 161). Наталье, получившей письмо от Рудина, казалось, что “какие-то темные волны без плеска сомкнулись над ее головой, и она шла ко дну, застывая и немея” (VI, 339); две сонаты Лемма “остались целиком в подвалах музыкальных магазинов: глухо и бесследно провалились они, словно их ночью кто в реку бросил” (VII, 139). На дне реки нет свободной человеческой деятельности, все, что создано человеком, – все поглощается дном; тот, кто попадает с поверхности на дно, должен подчиниться.

С одной стороны, природа враждебна человеку, с другой – она источник его силы, и это представление отражается в символическом плане произведений. Тургенев, ставя проблему человека и природы, ясно понимает ее неоднозначность и сложность, и символика выявляет диалектичность его позиции.

Чтобы установить значение образа реки в “Дворянском гнезде”, вспомним снова “Поездку в Полесье” (такая связь отмечена М.О. Гершензоном): “Мне вдруг показалось, что я понял жизнь природы, понял ее несомненный и явный, хотя и для многих еще таинственный смысл. Тихое и медленное одушевление, неторопливость и сдержанность ощущений и сил, равновесие здоровья в каждом отдельном существе – вот самая ее основа, ее жизненный закон, вот на чем она стоит и держится” (VII, 69, 70). Ту же мысль находим в письме Тургенева Е. Ламберт: “Должно учиться у природы ее правильному и спокойному ходу, ее смирению” (Письма. П, 365).

Сопоставление показывает, что через образ реки в “Дворянском гнезде” снова вводится тема природы, но здесь этот образ наделен положительным потенциалом по отношению к человеку. Он открывает другую сторону взаимоотношений человека и природы – не трагическое противостояние, а гармонию. В какие-то моменты тургеневскому герою удается обрести эту гармонию и снять противоречие. В этом смысле приведенный отрывок из “Дворянского гнезда” – наиболее философски насыщенный, но не единственный. Приведем примеры из “Поездки в Полесье”, из “Стихотворений в прозе”, из “Довольно”, где образ водного пространства также несет в себе положительные ассоциации: “Но лес однообразнее и печальнее моря (...) Море грозит и ласкает, оно играет всеми красками, говорит всеми голосами, оно

отражает небо, от которого тоже веет вечностью, но вечностью как будто нам нечуждой...” (VII, 51); “Я видел кругом одно безбрежное лазурное море, все покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое же безбрежное, такое же лазурное море – и по нем, торжествуя и словно смеясь, катилось ласковое солнце” (XIII, 175); “Эта бесконечно текущая река, эта безлюдность и спокойствие, и радость, и какая-то упоительная грусть, и колыхание счастья...” (IX, 116).

Здесь водная стихия выступает укрошенной, освоенной, близкой человеку, расположенной к нему, какой бывает природа в лучшие моменты человеческой жизни.

К “положительному” полюсу следует отнести и еще один устойчивый тургеневский образ: радостный, бурлящий, быстрый поток, несущий счастья человека. Этот образ встречается в повести “Вешние воды”, где он вводится через ее название и эпиграф, а затем повторяется еще раз: “С унылого берега своей одинокой, холостой жизни бухнул он в тот веселый, кипучий, могучий поток – и горя ему мало, и знать он не хочет, куда он его вынесет, и не разобьет ли он его о скалу! (...) Это сильные, неударжимые волны! Они летят и скачут вперед – и он летит вместе с ними” (XI, 76).

Жизнь – поток, быстрый, веселый, мощный, и человек в этом потоке не рефлектирует, а просто живет, отдаваясь жизни, и счастлив этим. Это момент гармонии, растворения в жизни: “Я уже вся отдавалась будущему; я ничего не видела вокруг, точно я плываю по прекрасной, ровной, по стремительной реке, окруженная туманом” (X, 128–129); “Меня несла – несла волна, Широкая, как волны моря! В душе стояла тишина Превыше радости и горя... Едва себя я сознавал: Мне целый мир принадлежал!” (XIII, 209).

Тургенев изображает такое состояние своих героев как неустойчивое, временное. За ним всегда следуют разочарование, горечь, катастрофа. Гармония – только момент, трагическое противоречие вечно.

Сравнение течения жизни с водным потоком часто появляется в письмах Тургенева: “Играю в шахматы, слушаю хорошую музыку – и плыву по течению реки, все более и более тихой и мелкой” (П. IV, 312–313); “Надо всячески стараться держаться на поверхности – особенно в наши годы, а то глупая житейская волна затопит!” (П. VII, 260); “А потому приходится предоставлять лодочку своей жизни течению случайностей – и смотреть, скрестя руки, куда, мол, тебя несет?” (П. IX, 65); “Будем высоко держать голову, пока ее не захлестнет волной” (П. IX, 424).

Так же передают это ощущение жизни и его персонажи: “Жизнь уходила, утекала, а я только глядела, как утекала она. Так, бывало, в детстве устроила на берегу ручья из песка сажалку, и плотину выведешь, и всячески стараешься, чтобы вода не просочилась, не прорвалась... Но вот она прорвалась, наконец, и бросишь ты все свои хлопо-

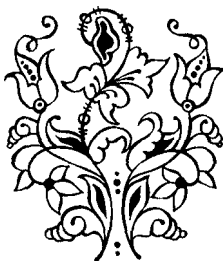
ты, и весело тебе станет смотреть, как все накопленное тобою убега-ет до капли...” (X, 137); “А годы шли да шли; быстро и неслышно, как подснежные воды, протекала молодость Елены, в бездействии внешнем, во внутренней борьбе и тревоге” (VIII, 34).

Такое представление о жизненном потоке может соединяться с образом смерти: “Да и стоит ли горевать, и томиться, и думать о самом себе, когда уже кругом, со всех сторон разлиты те холодные волны, которые не сегодня – завтра увлекут меня в безбрежный океан?” (XIII, 203).

Этот же образ возникает в повести “Первая любовь”, когда герой, узнав о смерти Зинаиды, думает: “И вот чем разрешилась, вот к чему, спеша и волнуясь, стремилась эта молодая, горячая, блистательная жизнь!” (IX, 74). В “Призраках” описание бурного моря заключается словами “всюду смерть, смерть и ужас...” (IX, 87).

Символическая нагрузка образа водного пространства достаточно велика, это символ широкого, обобщающего значения. Он глубоко связан с общим мировоззрением писателя, с его философскими взглядами, образующими систему, в центре которой – вопрос взаимоотношений человеческого индивидуума и природы как силы внешней по отношению к нему, противостоящей ему, причем для Тургенева силы природы и силы социальные нераздельны. Это объединенные тайные силы бытия, которые и представляет рассматриваемый нами символ: “Эта штука – равнодушная, властная, прожорливая, себялюбивая, подавляющая – это жизнь, природа, это Бог; называйте ее как хотите” (П. 1, 349).

Образ водного пространства в произведениях Тургенева – это символ самой “вечной Изиды”, природы, своеобразное Memento mori для его героев. Из всех стихий природного мира водная представляется Тургеневу наиболее враждебной человеку, наименее совместимой с его сущностью, самой разрушительной. Она лишена всякого духа, непредсказуема и нелогична в своих проявлениях и бессмысленно агрессивна, как сама смерть, которая, в представлении писателя, составляет ее главное начало. У нее нет лица, она – бесформенное и безликое воплощение Хаоса. Она всепроникающая, и противостоять ей невозможно, поэтому тургеневский герой занимает по отношению к ней позицию пассивного смирения. Положение человека в природном мире всегда трагично, и даже если он ненадолго забудется, созерцая обманчиво спокойный лик водоема, грозная стихия неизбежно напомнит ему о его слабости и ничтожестве.



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сказ у Н. С. Лескова

*Е. А. ПОПОВА,
кандидат филологических наук*

Н.С. Лесков настойчиво подчеркивал достоверность, даже документальность того, что описывал в своих повестях, рассказах и романах. Например, в “Авторском признании” (1884) он отмечал: “У меня есть наблюдательность и, может быть, есть некоторая способность анализировать чувства и побуждения, но у меня мало фантазии. Я выдумываю тяжело и трудно, и потому я всегда нуждался в живых лицах, которые могли меня заинтересовать своим духовным содержанием. Они мною овладевали, и я старался воплощать их в рассказах, в основу которых тоже весьма часто клал действительное событие” (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1956–1958. Т. 11. С. 229; далее – только том и стр.). А в “Человеке на часах” рассказу о солдате Постникове предшествуют слова: “Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько” (8, 154).

Установка на достоверность свойственна повествованию от первого лица – той повествовательной форме, которую Лесков предпочитал всем остальным и которая в читательском сознании прочно связана с его именем. Однако причины, по которым Лесков прикреплял повествование к “я” рассказчиков, и достигаемый этим эффект часто оставались непонятыми. Так, А.М. Скабичевский, критик народнического направления, с целью унижить Лескова заявлял, что талант писателя “не более как талант хорошего, бывалого рассказчика” (цит. по: Эйхенбаум Б.М. О прозе. О поэзии. Л., 1986. С. 238).

Рассказчики Лескова создают образ мира, преломленный в чужом сознании. Эту черту лесковского таланта высоко оценил М. Горький.

Сравнивая Лескова с Л. Толстым, Гоголем, Тургеневым, Гончаровым, Горький отнес названных писателей к художникам слова, которые “писали пластически”: “слова у них – точно глина, из которой они богородно лепили фигуры и образы людей, живые до обмана”. Лесков же “писал не пластически, а – рассказывал и в этом искусстве не имеет равного себе. Люди его рассказов часто говорят сами о себе, но речь их так изумительно жива, так правдива и убедительна, что они встают пред вами столь же таинственно ощутимы, физически ясны, как люди из книг Л. Толстого и других, – иначе сказать, Лесков достигает того же результата, но другим приемом мастерства” (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 24. С. 235–236).

Лесков, заслуживший право называться “чрезмерным” писателем, требовал от литератора и прежде всего от самого себя самоотверженного служения людям и – в итоге – России. Незадолго до смерти он сделал следующее признание: «Я люблю литературу как средство, которое дает мне возможность высказать все то, что я считаю за истину и за благо; если я не могу этого сделать, я литературы уже не ценю: смотреть на нее как на искусство не моя точка зрения... Я совершенно не понимаю принципа “искусство для искусства”: нет, искусство должно приносить пользу, только тогда оно и имеет определенный смысл... Раз при помощи ее (литературы. – *Е.П.*) нельзя служить истине и добру – нечего и писать, надо бросить это занятие» (Русские писатели о литературном труде: В 4 т. Л., 1955. Т. 3. С. 205). Так как учительство в духе Л. Толстого Лескову было чуждо, то он спрятался за своими рассказчиками, их словами и оценками происходящего.

В произведениях Лескова, представляющих собой рассказ от первого лица, отражена точка зрения участника или свидетеля событий, который, являясь повествователем, в то же время принадлежит изображаемому миру. Свою принадлежность к изображаемому миру повествователь-рассказчик выражает личным местоимением “мы” и притяжательным “наш”. Наполнение этих местоимений может быть самым разнообразным. Например, в “Леди Макбет Мценского уезда” безымянный сказитель при помощи местоимения “наш” говорит о своей принадлежности к жителям Мценского уезда: “Иной раз в наших (здесь и далее выделено нами. – *Е.П.*) местах задаются такие характеры, что, как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета. К числу таких характеров принадлежит купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая некогда страшную драму, после которой наши дворяне, с чьего-то легкого слова, стали звать ее леди Макбет Мценского уезда” (1, 96).

Местоимения “мы” и “наш” часто указывают на семью, род, дом. “Род наш один из самых древних родов на Руси” (5, 5) – так начинается семейная хроника князей Протозановых “Захудалый род”.

“Мы” и “наш” может разрастись до грандиозных размеров и указывать на русскую нацию и все русское: “У нас не переводились, да и не переведутся праведные” (“Кадетский монастырь” – 6, 315); “...англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы, оружейные и мыльнопильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться...” (“Левша” – 7, 26); “государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что взглянут – все могут сделать” (Там же); “Гости были люди просвещенные, и между ними шел интересный разговор о нашей вере и о нашем неверии, о нашем проповедничестве в храмах и о просветительных трудах наших миссий на Востоке” (“На краю света” – 5, 451). Благодаря такому наполнению местоимений “мы” и “наш” миром рассказчиков Лескова становится вся Россия.

Повествователь-рассказчик может перемещаться по временной оси событий художественного мира только в прошлое. Эта особенность повествования от первого лица проявляется в коммуникативной ситуации воспоминания, при которой “я” рассказчика расслаивается на “я – сейчас” (тот, кто вспоминает) и “я – тогда” (тот, кого вспоминают). Персональное расслоение сопровождается временным: “я – сейчас” пребывает в настоящем времени рассказа о событиях, “я – тогда” – в прошедшем времени совершения событий. Кроме того, слова *воспоминание, память, помню, вспоминать* не дают забыть, что слушатели и читатели погружены в сферу памяти рассказчика: “Воспоминания мои касаются петербургского кадетского корпуса, и именно одной его поры, когда я там жил...” (“Кадетский монастырь” – 6,315); “*Помню* редкий пар, поднимающийся с воды; *помню* утомительный полдень, когда все мы как убитые падали на траву (...) Много воды уплыло с того времени, к которому относятся мои *воспоминания*” (“Овцебык” – I, 64); “Едва *помню* его бравую военную фигуру, коротко остриженную голову, усы и бакенбарды с седыми концами, горячий цвет лица и синие глаза: вот и все” (“Детские годы” – 5,290).

Слово *воспоминание* настолько значимо для произведений Лескова, что нередко выносится в подзаголовок, становясь жанровым определением: “Житие одной бабы (Из гостомельских воспоминаний)”, “Печерские антики (Отрывки из юношеских воспоминаний)”, “Приведение в Инженерном замке (Из кадетских воспоминаний)”, “Умершее сословие (Из юношеских воспоминаний)”, “Детские годы (Из воспоминаний Меркула Праотцева)”, “Дама и фефёла (Из литературных воспоминаний)”.

Основные повествовательные ситуации, которые характерны для всех произведений, написанных от первого лица, это устный рассказ (сказ и повествование с литературно-книжным рассказчиком) и разного рода письменные сообщения (дневники, хроники, записки, воспоминания и т.д.). Лесков вошел в историю русской литературы как не-

превзойденный мастер сказа, который мы и попытаемся охарактеризовать как одну из разновидностей перволичного повествования.

Сказ прикреплен к простонародному рассказчику, что обуславливает установку на устную речь, не обработанную книжным повествованием, создаваемую на глазах читателей. Между сказовым рассказчиком и автором существует дистанция, проявляющаяся в их различном происхождении, образовании, роде занятий и многом другом. Однако главным средством противопоставления автора и сказителя является речь последнего, потому что сказитель в случае анонимности, как, например, в “Левше”, может не иметь имени, фактов биографии, которые делали бы его лицом из плоти и крови, но из-за своей неправильной, с точки зрения литературной нормы, речи он будет отчужден от автора. Как было замечено М.М. Бахтиным, “сказ есть прежде всего установка на чужую речь, а уж отсюда, как следствие, – на устную речь” (Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 222).

В том, что Лесков сделал обыкновенного человека не просто объектом изображения, а говорящим, изображающим субъектом, заключалась его писательская позиция, которая напрямую была связана с поисками положительного типа русского человека. Вся современная Лескову русская литература была занята поисками такого героя, который бы, говоря словами Гоголя, “на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово *вперед*” (Гоголь Н.В. Мертвые души. М., 1980. С. 284). Л. Толстой видел положительного героя в Пьере Безухове и Константине Левине, Достоевский – в князе Мышкине и Алеше Карамазове, Чернышевский – в особенном человеке Рахметове.

Для Лескова особенные люди, названные им праведниками, без которых, по народному преданию, “несть граду стояния”, это безымянный тульский мастер-левша, очарованный странник Иван Флягин, честный квартальный Рыжов, солдат Постников, инженеры-бессребреники, “чрева-ради юродивый” Шерамур. Несмертельный Голован и многие другие, по выражению Горького, “маленькие великие люди” (Горький М. Указ. соч. С. 231). Причем Лесков показывает праведников не только в специальном цикле, включающем десять произведений: “Однодум”, “Пигмей”, “Кадетский монастырь”, “Русский демократ”, “Несмертельный Голован”, “Инженеры-бессребреники”, “Левша”, “Очарованный странник”, “Человек на часах”, “Шерамур”. Тема праведничества является сквозной для творчества писателя с 60-х до 90-х годов. Поэтому одним из литературных открытий Лескова стало то, что народная Россия впервые заговорила во весь голос без посредника – книжного повествователя, поскольку о праведниках – а это большей частью люди невысокого звания, но с “человечкиной душой” – рассказывают те, кто знал их лично.

Сказ представляет собой коммуникативную систему, состоящую из двух адресантов (автора, находящегося вне текста, и рассказчика, принадлежащего миру текста) и двух адресатов (читателей и слушателей). Слушатели – такой же необходимый компонент сказа, как и рассказчик, так как “я могу употребить я только при обращении к кому-то, кто в моем обращении предстанет как *ты*” (Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 294).

В сказе отражено такое взаимодействие между повествователем-рассказчиком и персонажами, какого нет ни в одном другом типе повествования и в остальных разновидностях рассказа от первого лица. Сказовый повествователь, обладая правом передачи чужой речи, подвергает ее своей обработке. Вот почему в “Левше” все персонажи (сам левша, Платов, государи Александр и Николай Павловичи, англичане и др.) говорят одинаково – языком цехового сказителя с присущими ему искажениями слов в духе народной этимологии.

Сказ как 4-х элементная коммуникативная система (автор – сказитель – слушатели – читатель), кроме сказителя, допускает присутствие еще одного повествующего субъекта – второго рассказчика. Такое повествование встречаем в “Очарованном страннике”, “Тупейном художнике”, “Воительнице”, “Штопальщике”, “Леоне дворцом сыне” и других произведениях. Так, автором рассказа о тупейшике Аркадии (“Тупейный художник”) является бывшая крепостная актриса Люба – рассказчик (1), которая в момент своего “рассказа на могиле” – няня младшего брата рассказчика (2). “Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали Любовь Онисимовна. Она была из прежних актрис бывшего орловского театра графа Каменского, и все, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле, во дни моего отрочества” (7,221) – так вводит рассказчик (2) коммуникативную ситуацию воспоминания, разделяя свое “я” на “я – тогда”, когда впервые от няни услышал эту историю, и “я – сейчас”, в момент своего рассказа.

До 8-й главы в произведении два рассказчика, причем точка зрения рассказчика (2) – того, кто ребенком слышал от няни историю о тупейшике Аркадии, “чувствительном и смелом молодом человеке” – более значима по сравнению с точкой зрения рассказчика (1), непосредственной участницы описываемых событий. Поэтому главы 2–7 можно рассматривать как принадлежащую рассказчику (2) большую цитату, которая, однако, включает микроцитаты из речи рассказчика (1). Слова Любви Онисимовны заключены в кавычки и сопровождаются комментарием рассказчика (2): рассказчик (1) назван в 3-м лице, рассказчик (2) – в 1-м: «Он (Аркадий. – *Е.П.*) был собрат нашей няни по театру; разница была в том, что она “представляла на сцене и танцевала танцы”, а он был “тупейный художник”, то есть парикмахер и гримировщик, который всех крепостных артисток графа “рисовал и

причесывал» (7, 221–222); «Любовь Онисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красоты, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта: она “пела в хорах подпури”, танцевала “первые па в “Китайской огороднице” и, чувствуя призвание к трагизму, “знала все роли *наглядкою*»»; «Любовь Онисимовна должна была и петь в “подпури”, и танцевать “Китайскую огородницу”, а тут вдруг еще во время самой последней репетиции упала кулиса и пришибла ногу актрисе, которой следовало играть в пьесе “герцогиню де Бурблян”.

Никогда и нигде я не встречал роли этого наименования, но Любовь Онисимовна произносила ее именно так» (7, 224).

Начиная с 8-й главы, рассказчик (2) уступает свои права на повествование Любви Онисимовне – рассказчику (1), о чем свидетельствует смена 3-го лица на 1-е и отсутствие кавычек там, где они были раньше: “А как все представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян и одели Цецилией – одно этакое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками подхвачено – терпеть мы этого убора не могли. Ну а потом идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинах обозначено у святой Цецилии, и тоненький венец обручиком закрепить, и видит Аркадий, что у дверей моей каморочки стоят шесть человек” (7, 230–231).

В начале 15-й главы опять происходит смена повествующего субъекта, и Любовь Онисимовна на время из “я” превращается в “она”: “На скотном дворе она очутилась потому, что была под сомнением, не сделалась ли она вроде сумасшедшей?” (7, 236). Продолжение 15-й и вся 16-я глава представляют собой рассказ бывшей актрисы о пребывании на скотном дворе и о возвращении Аркадия. В последующих главах повествование окончательно переходит в руки рассказчика (2). Его появление в финале необходимо для того, чтобы со стороны рассказать об окончании этой истории “былых времен” и дать ей оценку.

Современный критик Л. Аннинский очень точно назвал финал “Тупейного художника” странным, скребуще-жутким. Его «венчает тихий, домашний “плакончик” с водочкой. Самое пронзительное, самое необъяснимое и самое гениальное в рассказе – этот странный финал. (...) Один простой человек (не граф, не его наемник, а совершенно посторонний человек, не имеющий даже имени, а просто постоянный дворник. – *Е.П.*) зарезал другого простого человека из-за денег; третий простой человек зашил...» (Аннинский Л. Сотворение легенд // Лесков Н.С. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1993. Т. 5. С. 106).

В литературоведении сложилась традиция сравнивать историю крепостной актрисы из “Тупейного художника” с историей крепостной актрисы из “Сороки-воровки” Герцена. И прав Л. Аннинский, увидевший в тональности герценовского повествования что-то

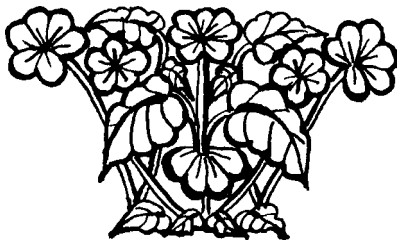
“французское”: “...много пылких слез, а внутри – сухое пламя гордости и самолюбие” (Аннинский Л. Указ. соч. С. 107).

У Лескова же все по-другому – чисто по-русски. В конце последней главы рассказчик (2) без пафоса и патетики, без пролития моря слез описывает то, что он неоднократно видел ребенком. На многократность действий указывает частица *бывало* и местоимение *каждый*: «И как сейчас я ее вижу и слышу: бывало, каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо приподнимается с постельки, чтобы и косточка не хрустнула; прислушивается, встает, крадется на своих длинных простуженных ногах к окошечку... Стоит минутку, озирается, слушает: не идет ли из спальни мама; потом тихонько стукнет шейкой “плакончика” о зубы, приладится и “пососет”... Глоток, два, три. Уголек залила и Аркашу помянула, и опять назад в постельку, – юрк под одеяльце и вскоре начинает тихо-претихо посвистывать – фю-фю, фю-фю, фю-фю. Заснула!»

Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал» (7, 241–242). Таков конец истории любви крепостной актрисы и тупейного художника. Оценка, которую дает этой истории рассказчик (2) в последнем абзаце, производит на читателей более сильное впечатление, чем сообщение о том, что в “Сороке-воровке” рассказчик проливает потоки слез по несчастной “Анете”.

По словам Д.С. Лихачева, “без Лескова русская литература утратила бы значительную долю своего национального колорита и национальной проблемности” (Лихачев Д.С. Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 3. С. 335). В самом деле, трудно назвать более русского писателя, чем Лесков. Начать следует хотя бы с того, что его творчество вышло из устной разговорной традиции, из тех разговоров, споров, бесед “по душам”, что велись русскими людьми, принадлежащими к разным сословиям, в многодневных путешествиях, за чаем у самовара дома или у знакомых. При этом писатель очень точно отразил стиль русских бесед и споров: “Мы во всю ночь спорили...” (“Железная воля” – 6, 5). Предметом разговоров были “вечные” и поэтому до сих пор нерешенные вопросы: о свойствах и качествах русского и других народов, о нашей вере и неверии, о самобытном русском гении и т.д.

Лесков стал создателем национального автопортрета и потому, что показал русского человека с его страстной, широкой душой, в которой высокое уживается с низменным.



Сводные тетради и письма М. Цветаевой

С. В. РУДЗИЕВСКАЯ

М.И. Цветаева, по наблюдению исследовательницы ее творчества А.А. Саакянц, “относилась к своим письмам, как к прозе. Наиболее важные обычно заносила сначала в черновую тетрадь, в виде дневниковых записей, а дальнейшую судьбу этих записей уже диктовали обстоятельства: одни использовались в очерках..., другие становились содержанием писем” (Саакянц А.А. Письма поэта // Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. М., 1995. Т. 6. С. 5; далее только стр.).

Однако рассматривать записи из “Сводных тетрадей” лишь как черновые наброски к письмам было бы несправедливо. Понятие “тетрадь” имело для Цветаевой собирательно-обобщающее значение: в силу цельности натуры поэтесса не дифференцировала записи на бытовые, деловые, аналитические, интимные, черновые. “Что со мной будет – то будет и в тетради. Чего со мной не будет – того не будет и в тетради – верней: то будет – в тетради” (Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997. С. 328). “Тетрадь” выполняла для Цветаевой функцию дневника. В одном из писем 1935 г. поэтесса скажет: “Собой (душой) я была только в своих тетрадях...”. Об этом свидетельствует сравнительный анализ ее писем Пастернаку и Бахраху 1922–23 гг. и параллельных записей из “Сводных тетрадей”: синонимические замены, грамматические варианты, перифразы, развитие мыслей и изменение синтаксиса не только приоткрывают процесс работы с прозаическим словом в эпистолярном жанре, но демонстрируют переход мысли поэтессы из одной жанровой системы (дневник) в другую (письмо).

Принадлежа к первичному дискурсу, дневник и письмо обладают сходными признаками, но имеют и принципиальное различие: дневник относится к типу автокоммуникации, письмо направлено реальному адресату (Другому). Почему обращения к Пастернаку и Бахраху появились сперва в форме дневниковых записей? Не только потому,

что этого требовал сложный, интимный характер лирического чувства Цветаевой. Обращаясь к ним в дневнике, Цветаева обращалась к себе самой, смело заглядывая в глубину души и самозабвенно отдаваясь порывам духа. Некоторые фрагменты записей, носившие лично значимый характер, так и остались только в тетрадях и не попали в письма. С другой стороны, в письмах обнаруживается ряд мест, которых не было в первоначальной записи. В силу бытового, предельно конкретного (адресного) характера они были лишними в контексте тетради-дневника, и не только лишними – они не могли там появиться, ведь в случае дневниковой записи-обращения адресатом выступает не реальный, а сотворенный образ возлюбленного, образ, которым живет адресант. Этот внутренний образ и говорит об акте автокоммуникации, неслучайно, попадая в жанр письма, он обростает конкретной, реальными деталями.

Наглядна разница и в стилистике. В “Сводных тетрадях” поэтесса пишет: “В любви мы лишены главного: возможности рассказать (показать) другому, как мы от него страдаем” (С. 124). Дневник – “тетрадь” для Цветаевой – это попытка *рассказать*. Отсюда установка выговорить себя, так и столько, сколько потребует чувство, в его неразрывности, хаосе и многословии. В письмах же, при их лексической тождественности записям, Цветаева сглаживает интонацию, пытается усмирить чувство, придав ему повествовательность и логическую связность. Особенно это заметно в синтаксисе: экспрессия, импульсивность мысли в дневниковой записи-обращении выражены обилием тире (вообще характерных для стиля Цветаевой) и своеобразным, “спонтанным” порядком слов, тогда как в письме тире заменяется запятыми или снимаются вовсе, а порядок слов нейтрален. Приведем примеры из “Сводных тетрадей” (сокращенно Т.) и “Писем” (сокращенно П.). “Вы же, когда бы обо мне ни думали, знайте, что думаете в ответ: мой дом весь – на полдороге к Вам...” (Т. С. 121). – “Мой же дом всегда на полдороге к Вам. Когда бы Вы ни писали, знайте, что Ваша мысль – всегда в ответе” (П. С. 233).

“Я одно время часто ездила в Прагу, – и вот, на нашей крохотной станции – ожидание поезда. (...) я просто вызывала Вас сюда, и долгие бок о бок беседы, никогда не садясь, всегда на ногах” (Т. С. 118). – “Я одно время часто ездила в Прагу, и вот, ожидание поезда на нашей крохотной сырой станции. (...) сюда я вызывала Вас. – “Пастернак!” И долгие беседы бок о бок, бродячие» (П. С. 229).

“Вы уже однажды так исчезли – на Девичьем Поле, на кладбище: изъяли себя из ... Просто: Вас не стало” (Т. С. 120) – “Вы уже однажды так исчезли – на Девичьем Поле, на кладбище: изъяли себя из. Вас просто не стало” (П. С. 232).

“Друг, я не маленькая девочка (хотя, в чем-то – никогда не дорасту) – жгла, обжигалась, горела, страдала – все было! – но *так* разбиваться

как я о Вас разбилась...” (Т. С. 206) – “Друг, я не маленькая девочка (хотя – в чем-то никогда не вырасту), жгла, обжигалась, горела, страдала – все было! – но ТАК разбиваться, как я разбилась о Вас...” (П. С. 584).

Изменение построения фразы также служит задаче умерить “безмерность” чувств. В дневниковой записи-обращении к Пастернаку: “А теперь просто: я ЖИВОЙ человек и мне ОЧЕНЬ больно. Где-то на высотах себя – нет, в сердцевине – боль” (Т. С. 127). В письме: “А теперь просто: я живой человек и мне очень больно. Где-то на высотах себя – лед (*отрешение!*), в глубине, в сердце-вине – боль!” (П. С. 239). В первой фразе снято выделение слов, во второй не только появился новый смысловой оттенок – “лед (*отрешение!*)”, с ним вместе фраза обрела внутренниий параллелизм, симметричность, интонацию утверждения, тогда как в дневниковом варианте интонация фразы отличалась неустойчивостью в устремлении Цветаевой через самовыражение к самопониманию.

Ярко иллюстрирует различие стилистики в жанрах дневника и писем небольшое письмо Бахраху от 17 августа 1923 г. Цветаева разгневана, но жестко-сдержанна – в тетради: “Если мои письма *дошли* – всякие объяснения Вашего молчания – излишни. Равно как всякие Ваши дальнейшие заботы о моих земных делах, с благодарностью, отклонены” (Т. С. 202). В письме, требующем большей официальности, Цветаева смягчает резкость эмоции, убирая тире, и гасит категоричность, объединив обе фразы в одну длинную: “Если мои письма дошли – всякие объяснения Вашего молчания излишни, равно как всякие Ваши дальнейшие заботы о моих земных делах, с благодарностью, отклонены” (П. С. 582).

Тот же переход от свободного выражения мысли к общепринятой вежливости – в фрагменте письма Пастернаку от 19 ноября 1922 г. Ср. в “Сводных тетрадах”: “Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбами. Две глухие стены. {...} Но тем не менее – захудалое, Богом забытое (вспомнутое!) кафе – лучше в порту (хотите! (Nordsee!)), с деревянными залитыми столами, в дыму – локоть и лоб.

Но я свои соблазны оставляю тоже в духе (Т. С. 148); в письме “свой соблазн” скромно перефразирован: “Не скрою, что рада была бы посидеть с Вами где-нибудь в Богом забытом (вспомнутом) захудалом кафе, в дождь. – Локоть и лоб. –” И добавлено: “Рада была бы и увидеть Маяковского...” (П. С. 226–227).

Этот путь нейтрализации речи при переходе от дневниковой записи-обращения к письму нередок у Цветаевой и осуществляется порой простым развертыванием эллипсиса и неполных конструкций: “Сейчас расстанутся на слишком долго, поэтому хочу – ясными и трезвыми словами: – на сколько и когда” (Т. С. 148) и в том же письме Пастернаку: “Но сейчас расстанутся на слишком долго, поэтому хочу – ясно

и трезво: на сколько приехали, когда едете” (П. С. 227); или: “... а для этого мне нужно одно: правда, какова бы ни была” (Т. С. 191), в письме Бахраху от 25 июля 1923 г.: “... а для этого мне нужно одно: правда, какая бы она ни была!” (П. С. 572).

Вообще вопрос краткости/распространенности речи при сравнении стилистики дневника (“тетради”) и писем неоднозначен. В одних случаях дневниковая запись может лишь конспективно обозначать ход мысли автора, а в письме каркас обрастает плотью (в тетради, в одной из записей Пастернаку, есть абзац: «Ремесло. – Молодец. – “Женское ничтожество” – Беседа с Вашим гением о Вас» (Т. С. 120), в письме 10 февраля 1923 г. он будет развит в целый фрагмент). В других случаях – и они встречаются у Цветаевой чаще, запись в тетрадь, отражая акт автокоммуникации, служит уяснению, пониманию автором себя, и процесс открывания – откровения (да и поиска нужного слова) сопровождается длинными размышлениями и объяснениями, тогда как для писем Цветаева старается “отжать” текст, выбрать уже готовый результат. Ср. объяснение мысли – адресату? – нет, себе! – в тетради: “Я хочу Вас безупречным, а безупречность – не отсутствие повода к упрекам: вольное подчинение (*подставление* себя) упреку: – упрекай! (если можешь, а я – конечно – не смогу). Есть степень гордости и правдивости души, где уже нет самолюбия (...) т.е. правдивости и гордости настолько, чтобы идти под упрек как солдат под обстрел: души моей не убьешь” (Т. С. 191) и лаконичную формулировку в письме Бахраху: “Я хочу Вас безупречным, т.е. гордым и свободным настолько, чтобы идти под упрек, как солдат под выстрелы: души моей не убьешь!” (П. С. 572).

Таким образом, сравнительный анализ некоторых писем Цветаевой и параллельных записей к ним в тетрадях, во-первых, еще раз демонстрирует огромное значение синтаксиса для стиля поэта, во-вторых, дает основание изменить взгляд на соотношение тетради и писем. Они коррелируют не по принципу черновик – проза, а по принципу дневник – письмо, когда оба жанра обладают самостоятельной и полноценной стилистической системой.



Метафорические ряды в романе “Мы” Е. Замятина

И. А. ИВАНОВА

Прозу Евгения Замятина обычно называют новой прозой, или орнаментальной. Такая проза характеризуется чертами, присущими новому синтетическому искусству. Среди них отход от реализма, быстро развивающийся фантастический сюжет, сгущение символики и красок, выделение только общего, синтетического признака каждого явления, а не детальное описание его; концентрированный, сжатый язык, выбор слов с “максимальным коэффициентом полученного действия”, по выражению Е.И. Замятина. Повтор и возникающие на его основе сквозные словесные темы и лейтмотивы компенсируют недостатки в развитии сюжета и являются тем каркасом, на котором содержится повествовательная ткань произведения.

Конструктивным элементом художественного произведения новой прозы является подразумевание, импликация как способ логического построения сюжета. Художественная проза Евгения Замятина представляет собой определенные метафорические ряды. Они необходимы писателю для создания художественного образа как игровая замена ряда реального, это – метафора без сходства (Шкловский В.Б. Пять человек знакомых. Тифлис. 1927. С. 49). Образ канонизируется и переходит из одной части романа в другую, подобно цитате. Прием, во многом заимствованный у Андрея Белого, становится у Евгения Замятина визитной карточкой его стиля. Метафорические ряды нагружаются идейно-эстетическим содержанием.

Мир романа “Мы” – это мир, построенный из номеров и прямых линий, кубов и шеренг, стеклянных домов, униформ, расписаний и талонов. Каждому человеку присвоен свой номер, он живет по плану, где все рассчитано по минутам. Работа, прогулки, личный час, любовь по талонам, и Благодетель – вождь и бог в одном лице. Произведение строится на основе развернутых подразумеваемых значений, импли-

кативных полей, где из одного признака вытекает другой, и все произведение напоминает развернутую метафору.

Это мир “номеров”, а не личностей, досконально во всем рассчитанный огромный механизм Единого Государства с идеально притертыми “винтиками”. Расчислено действительно все. Не только рабочие часы – все стороны жизни “номеров” охвачены Государством, секундно расписаны в Часовой Скрижали. Даже искусство подчинено в этом истинно казарменном будущем узкопрактическим целям. “Просто смешно: всякий писал – о чем ему вздумается... Теперь поэзия – уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия – государственная служба, поэзия – полезность” (Замятин Е.И. Избранное. М. 1989. С. 352; далее – только стр.). И вот Институт Государственных Поэтов и Писателей создает “Ежедневные оды Благодетелю”, бессмертную трагедию “Опоздавший на работу”.

Строительство Интеграла является целью всей жизни данного общества. Для “номеров” стройка должна быть священным действием претворения в жизнь идей вселенского счастья. Ярый противник такой идеи, Замятин саркастически рисует картину “этого грандиозного машинного балета”: “Нынче утром был я на эллинге, где строится и н т е г р а л , – и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка” (С. 309).

Д-503 видит перед собой *непреложные прямые улицы*, брызжащее лучами стекло мостовых, божественные *параллелепипеды* прозрачных жилищ, *квадратную гармонию* серо-голубых шеренг; “будто не целые поколения, а я – именно я – победил старого Бога и старую жизнь, именно я создавал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин” (С. 310).

Метафорические ряды строятся по принципу импликации. В данном случае используется схема “если – то”. Если герой изображается с какой-то определенной стороны, то все дальнейшее описание его будет соотноситься с данной характеристикой: “R мотнул головой, почесал в затылке: затылок у него – это какой-то четырехугольный привязанный сзади чемоданчик”. По законам импликации, если затылок сравнен с чемоданчиком, то мысли R – это вещи в этом чемоданчике, которые можно перебирать, вытаскивать и разворачивать: “Я смотрел на его крепко запертый чемоданчик и думал: что он сейчас там перебирает – у себя в чемоданчике?” (С. 335). “Он насупился, тер затылок – этот свой чемоданчик с посторонним, непонятым мне багажом. Пауза. Вот нашел в чемоданчике что-то, вытащил, развертывает, развернул – залакировались смехом глаза, вскочил” (С. 347).

Образный ряд строится на понятиях, которые можно отнести к авторской синонимии. Стилистические фигуры создаются как за счет

языковых, так и за счет индивидуально-авторских синонимов. Таковы слова *чистый*, *прозрачный*, *начисто отдистиллированный раствор*: “Вчерашний день был для меня той самой бумагой, через которую химики фильтруют свои растворы: все взвешенные частицы, все лишнее остается на этой бумаге. И утром я спустился вниз начисто отдистиллированный, прозрачный” (С. 339).

На этом же принципе основано введение в текст контекстуальных антонимов: «Внизу, в вестибюле, за столиком, контролерша, поглядывая на часы, записывала номера входящих. Ее имя – Ю... Впрочем, лучше не назову ее цифр, потому что боюсь, как бы не написать о ней что-нибудь плохого. Хотя, в сущности, это – очень почтенная пожилая женщина. Единственное, что мне в ней не нравится, – это то, что щеки у ней несколько обвисли – как рыбы жабры (казалось бы: что тут такого?) Она скрипнула пером, я увидел себя на странице: “Д-503” – и – рядом клякса» (С. 340). Стилистические фигуры, основанные на контрасте, создаются за счет контекстуальных антонимов. Таковы слова *чистый* и *клякса*. Они не являются по своей первичной функции антонимами, однако в контексте произведения образуют экспрессивный ряд противопоставлений вторичного порядка. Далее семантическое поле расширяется за счет включения в контекст словосочетания *чернильная улыбочка*: “Только я хотел обратить на это ее внимание, как вдруг она подняла голову – и капнула в меня чернильной такой улыбочкой” (С. 340) Одна метафора тянет за собой другую, третью, и, таким образом, мы видим расширение семантического поля: “Я знал: прочтенное ею письмо должно еще пройти через Бюро Хранителей (думаю, излишне объяснять этот естественный порядок), и не позже 12 будет у меня. Но я был смущен этой самой улыбочкой, чернильная капля замутила мой прозрачный раствор” (С. 340).

Буквальное понимание образно-переносных выражений придает им, по существу, функции опорных слов. Такое построение образов основано на большой свободе многозначности.

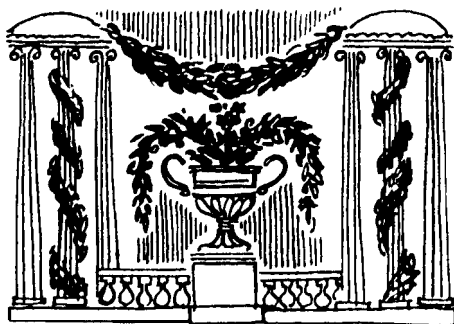
Еще один яркий пример контекстуальной метафоры: “Когда она говорит – лицо у ней, как быстрое, сверкающее колесо: не разглядеть отдельных спиц. Но сейчас колесо – неподвижно. И я увидел странное сочетание: высоко вздернутые у висков темные брови – насмешливый острый треугольник, обращенный вершиною вверх – две глубокие морщинки, от носа к углам рта. И эти два треугольника как-то противоречили один другому, клали на все лицо этот неприятный, раздражающий X – как крест: перечеркнутое крестом лицо.

Колесо завертелось, спицы слились...” (С. 341).

Таким образом, мы видим искусственное установление метафорического ряда. Это – метафоры без сходства, построенные не по принципу “гнезд”, то есть “птицы” не вызывают одна другую, а наоборот, “ворона” скорее вызовет продолжение и “лисица” или “сыр”, чем “во-

робей” (Шкловский В.Б. Указ. соч. С. 49). Образ, раз установленный, проходит через все произведение. Определенная характеристика, развернутый эпитет сопровождают героя через весь роман, и персонаж показывается только с этой стороны. Если нужно изменить героя, изменение происходит в духе данной характеристики. Новая деталь держится за статус и проявляется только в ее контексте. Благодаря такому прерванному повествованию Замятин задерживает внимание читателя на необычной посылке, заставляет задуматься, включиться в совместную работу с автором. Читатель принимает ход рассуждения и доказательств, но так как он был непрямым, то только в конце рассуждения появляется посылка, которая должна бы быть исходной. В данном случае она является выводом, к которому автор и читатель приходят вместе. Таким образом, читатель не только соглашается с автором насчет какого-либо вывода, более того, он считает этот вывод своим собственным, а это значит, что писатель достиг нужной ему цели. Такой прием позволяет ему писать экономно, оставляя простор для фантазии читателя и надолго остается в памяти.

Роман “Мы” создавался в то время, когда Советский Союз как явление был только в зародыше. Замятин первый прозрел до конца жизнь людей в обществе, где правит диктатура. Роман был издан в Англии на английском языке в 1924 году, в 1927 году – в Праге на русском. В России первая публикация появилась лишь в 1988 году. Проза Евгения Замятина нашла своего читателя с большим опозданием. Борец против тоталитаризма и деспотии, он не был до конца понят ни на Западе, ни на Востоке.



Путевая проза русских писателей первой трети XX века

А. В. ГРОМОВ-КОЛЛИ

Для путевой прозы русских писателей первой трети XX века характерен поиск *genius loci* – гения места, того одухотворенного образа местности или даже конкретного объекта, который возникает в сознании воспринимающего путешественника под влиянием историко-культурных ассоциаций и реминисценций. Особый интерес для русских писателей в этом отношении представляла Италия.

«В каждой книге, написанной об Италии, если только Италия является в ней целью некоего “паломничества души”, есть непременно много лирических страниц», – так искусствовед и прозаик П.П. Муратов в предисловии к своей книге об Италии, вышедшей в 1924 г., сформулировал интенции и жанровые принципы своего путешествия – цикла очерков об итальянском искусстве и литературе, с фабульными линиями биографий художников и писателей, пронизанного сумеречным светом остро ощущаемой им надвигающейся гибели этого культурного мира-мифа (Муратов П.П. *Образы Италии*. М., 1994).

Мир материальной культуры, данный писателем в зримых образах, сплавленный с миром духовным – обращением к иным временам и ушедшей жизни, ее духу, субъективный тон повествования превращает текст по итальянскому искусству в своеобразный эпос об утраченной *alma mater* европейской цивилизации.

“Образы Италии” Муратова в традиции путевой прозы итальянских путешественников русских писателей стали своеобразным “камертоном” (см. очерки об Италии Г. Бояджиева, В. Некрасова, Н. Ильиной) и мифом о мифе, ибо сама попытка реконструировать то созерцатель-

ное отношение к жизни, которое присутствует в книге Муратова, оказалась впоследствии совершенно невозможной.

Это почувствовалось уже в итальянских очерках Б.К. Зайцева, которому посвящены “Образы Италии”, также страстного итальяниста. “Италия” писалась Зайцевым на протяжении 12 лет, охватив время двух разрушительных войн. Его повествованию присущ пафос переживания крушения мира, дорогих писателю идеалов и представлений, и прежде всего, умаления христианского гуманизма.

Итальянские очерки Зайцева – это современность на фоне культурного ореола великого прошлого, но они не претендуют на целостный образ Италии: “Не надо ждать исчерпывающего от заметок и воспоминаний, написанных в уединении и преимущественно для себя” (Зайцев Б.К. Собр. Соч. Берлин – М., 1923. Кн. 7. С. 3).

Чувство исторической неизбежности гибели этого почти призрачного мира прошлого соседствует с восхищением красотой и неизбывной стойкостью творений рук человеческих, прочностью традиционного уклада жизни. Эти чувства порой выражаются высоким стилем: “В нарядах родилась Венеция, в нарядах смертный час свой встретит... И хмулости не угнетут народа мягко-сладкоострастного, изящного, о, сколь живого” (Там же. С. 13).

Переплетение радостного и скорбного, рожденного картинами и описываемых писателем мест, перебивка обыденного и возвышенного планов повествования, использование разных глагольных времен: настоящего (мгновенного и длительного) и будущего – все это делает очерки Зайцева об Италии произведением оригинальным, живым и вдохновенным.

Характерен связанный общей темой прием перебива главок-городов: Венеции и Генуи, Флоренции и Сиены, Пизы и Рима. “Хорошо в Генуе жить, плохо – умирать” (Там же. С. 22), – заключается рассказ о праздничном, ярком, но равнодушном городе. Иные мысли навеивает прекрасная Флоренция: “Хорошо умереть во Флоренции, ибо больше всех любил ее при жизни. И она несет тебе экстаз и тень могилы” (Там же. С. 33). Венчает эти размышления заключительная фраза из главы “Ассизи”, посвященной родине Св. Франциска: “Хорошо жить в Ассизи. Смерть грозна и страшна везде для человека, но в Ассизи принимает очертания особые – как бы легкой, радужной арки в вечность” (Там же. С. 142).

Примечательна пронизанность “Италии” Зайцева русской темой, выраженной как в бытовых ассоциациях, так и в раздумьях о Пушкине и Гоголе. Само датирование очерков, писавшихся в разные годы и в разных краях, – значащая деталь: “Fioretti (цветочки. – А.Г.-К) Св. Франциска, сельцо Притыкино, декабрь 1918” (Там же).

Италия Андрея Белого как этап его путешествия в Тунис (Белый А. Путевые заметки. Сицилия и Тунис. М. – Берлин, 1922) принципиаль-

но отлична от Италии Муратова и Зайцева. Вообще, путевая проза Белого отмечена только ему присущим жанровым своеобразием – сочетанием научных фактов и импрессионистических зарисовок, философских размышлений и поэтических аллюзий. Каждый встреченный писателем объект или полученный в путешествии импульс переживания обрастает сетью ассоциаций, создавая тот стиль повествования, который сам автор назвал мозаикой: “Мозаика стала – приемом: я стал подбирать слово к слову так точно, как камушки я подбирал в Коктебеле” (Белый А. Ветер с Кавказа. М., 1928. С. 22). Для путевой прозы Белого характерно привлечение суждений и впечатлений предшественников, припоминание философских концепций: “...вспоминаются световая теория Гёте и свет интуиции Плотина” (Белый А. Офейра. М., 1921. С. 60). И, главное, повествование Белого-путешественника предельно субъективировано, и эта особенность разительно выделяется на фоне того объективного материала, который во множестве включен в его поэмы-исследования.

В “Офейре” господствует свето-цветовое, точнее, свето-пуантилистское восприятие движущейся живописной реальности, образы которой – пятна на картине, рисуемой художническим воображением. Белый так объясняет свою творческую задачу в путешествии: «...дать точный отчет о летающих пятнах пути, о случайно летающих мыслях, о жажде случайностей, память – кодак – мне нашелкала их; лишь теперь, через несколько дней, проявил я пластинки, слегка ретушировал их этнографией и иными “вопросами”; эти “вопросы” – ретушь пестрых пятен» (Там же. С. 197).

Научная цель путешествия, проходящая стержневой темой через “Офейру”, формировала композицию книги, которая первоначально была задумана как ряд картин, пропущенных через мир автора. Декларируемый им принцип “доведения дневника до литературного уровня” Белый использует и при работе над своими кавказскими записками (См. Белый А. Проблемы творчества. М., 1988. С. 10).

Безусловно, самой яркой чертой стиля путевой прозы Белого является организующий ее четкий ритм, виртуозное владение интонационными ходами с использованием звуковых эффектов слов, например: “живым самородком дрожайше играет и светит ярчайшими перлами вещей столетий старинная стая церквей” (Белый А. Офейра. С. 97). Хотя чрезмерная эксплуатация изобразительных возможностей слова порою приводит к разрушению целостной картины мира.

Прием мозаики доминирует осознанно: в “Ветре с Кавказа” Белый раскрывает лабораторию создания своих путевых произведений: обнажение ассоциативных ходов, совмещение разных – бытовых и живописных планов, непосредственный, дневниковый – с “охудожествленным приращением живописного” взгляд, другие особенности сво-

его художественного восприятия, например: “я старый спец по закатам” (Белый А. Ветер с Кавказа. С. 120).

“Армения”, написанная по заказу, тем не менее носит те же, характерные для путевой прозы Белого приметы, к которым добавились тенденция лексически окрашивать бытовые подробности; предельно динамизированный ритм повествования – настолько, что в него вовлечены довольно крупные массивы текста – ритмико-синтаксические периоды; любовь к созданию неологизмов (субстантивация глаголов в изобилии встречается в “Ветре с Кавказа”; *проянь, прогляд, промерзь, сверк, фырч*), экспрессивных форм существительных: *обрывины, растрески, вспыхи*.

Творчество Белого в целом и путевая проза в особенности служат ярким образцом того, что в 20-е годы XX века было названо орнаментальной прозой, в которой “образ преобладает над сюжетом” (Шкловский В.Б. О теории прозы. М., 1929. С. 216). Специфика орнаментальной прозы, применительно к Белому, подробно исследована: «Насыщенность и “теснота” изобразительного ряда, ритмическое спиралеобразное развертывание системы образных средств в виде лейтмотивов, развитие музыкальной темы, многозначность (символичность) самих образов и богатство их ассоциативных связей, характеризующих стилистику орнаментальной прозы, обусловлены обостренным, художественно подчеркнутым “мышлением образами” писателя-орнаменталиста, нередко доминированием художественной интуиции над обычным рациональным мышлением, приводящим к неожиданным, качественно новым результатам» (Новиков Л.А. Орнаментальная проза А. Белого. М. 1991. С. 32). Автор исследования вводит понятие *орнаментальное поле* – “система реализации изобразительных средств текста с насыщенной, повышенной образностью как отражение особого, поэтического видения мира” (Там же. С. 117). Добавим, что стремление к орнаментализму среди авторов путевой прозы в XX в. может быть в первую очередь отмечено у поэтов (О.Э. Мандельштам, А.И. Адалис, Н.С. Тихонов) и у прозаиков, в творчестве которых поэзия была тесным спутником (Л.М. Рейснер, Б.М. Лапин, Д.Я. Дар и др.).

В жанре путевой прозы первого послереволюционного периода наибольший интерес представляет творчество Ларисы Рейснер, чей изобразительный талант отмечал критик Воронский: “Самый большой дар писательницы ушел в слово, язык. Каждый ее очерк, каждая статья походила на дерево, отягченное пышным и щедрым изобилием плодов”, – писал он в 1926 г. (Воронский А.К. Искусство видеть мир. М., 1987. С. 322). Предметные описания у Рейснер нацелены на выявление плотской, зрительно и пластически убедительной сути: “В зеленую шелковую траву с низко опущенных веток без шума падают персики, огненные помидоры на сухом стебле прекрасны и как-то слиш-

ком великолепны, как драгоценности, надетые с утра” (Рейснер Л.М. Избранное. М., 1980. С. 60).

Показателен пропуск промежуточных сравнительных конструкций, предпочтение эффективной лаконичной метафоры при передаче действия: вместо избитого сравнения “слушают как прикованные” – “внимание отливает толпу, как из бронзы. Бронзовый отсвет передается рукам” (Там же. С. 60).

Афганские очерки, написанные в связи с посольской миссией в Кабул в полной мере выявили изобразительные способности Рейснера. Наряду с явной “фактурностью” восприятия, “Афганистан” насыщен литературными ассоциациями и реминисценциями, привлекаящими Библию, “Сказки тысячи и одной ночи”, исторические были и предания о Тамерлане, Александре Македонском, жизни Гарун-аль-Рашида и т.п. Причем – и в этом оригинальность писательницы – ассоциативные исторические сравнения она смело переносит на современные реалии. Так, работник суконной фабрики сравнивается с ветхозаветным Иаковом.

В некоторых фрагментах текста проза ритмизируется: “Поют песчаные холмы, где согреты солнцем пески пересыпаются, как жемчуг, восходит волной, падают в мгновенные долины и опять ссыпаются в подвижный вал с серафической, непрестанной и сонливой музыкой” (Там же. С. 109).

Выразительные средства, используемые Рейснер, обнаруживают родство с современной ей поэзией, в частности, напоминая присущие Пастернаку ассоциации по смежности и отказ от эстетической иерархии объектов изображения: “Низкие облака идут домой с утренней смены, не успев смыть угольной пыли с лица” (Там же. С. 283); мандельштамовские функциональные сравнения: “красноармеец – крестоносец паладин красной звезды”; ахматовские оксюмороны: “меланхолически-воинственные песни Саади” (Там же).

Среди авторов, всецело принявших Октябрь и, более того, ставших видными деятелями революционных событий, Рейснер сохраняла чувство преемственности к “классово чуждой” культуре.

Приведем небольшой фрагмент из эпилога книги “Фронт”, в котором в неожиданном содержательном контексте устанавливается связь Рейснер с “эстетской” традицией: “Что же это в самом деле? Запустение, смерть? Эта молодая свежесть северного лета среди домов, сломанных на топливо? Эти развалины на людных когда-то улицах, два-три случайных пешехода на пустынных площадях и каналы, затянутые плесенью и ленью, и осевшие на илистое дно баржи? Неужели Петербургу действительно суждено превратиться в тихий Русский Брюгге, город XVIII века, очаровательный и бездыханный?” (Рейснер, 1980. С. 104). Упоминание Брюгге – это “скрытая отсылка” на книги о мертвых городах Ж. Роденбаха, которые были очень популярны в русском образованном обществе начала века.

“Путешествие в Армению” О.Э. Мандельштама – произведение, полемически заостренное против поэтики Белого, которую Мандельштам в эссе “О природе слова” характеризовал так: “Он нещадно и бесцеремонно гоняет слово, сообразуясь исключительно с темпераментом своего спекулятивного мышления” (Мандельштам О.Э. Собр. соч.: В 4 т. М., 1991. Т. 2. С. 246). Для Мандельштама важна глубинная, онтологическая сущность слова, для Белого – его форма. Белый берет слово изобразительно и фонетически, и этого ему вполне достаточно. Мандельштам дорожит внутренней формой, семантикой слова, которая, по его же высказыванию в “Разговоре о Данте”, представляет пучок разнонаправленных смыслов.

Такое отношение к слову предполагает его многозначность, а нередко и символичность, но символичность мандельштамовских словоупотреблений не в отчуждении от реалий мира – напротив, в их внутренней, родовой связанности. Поэтому ассоциации у Мандельштама никогда не произвольны, а носят характер концептуальный, причем их рациональное ядро реконструируется только синтезом, предполагая в читателе сродственные художественные интуиции: “Смысл, сколько-нибудь адекватный авторскому, может открыться для читателя, только если стараться держать в поле зрения все им написанное” (Багратион-Мухранели И.Л. Кинематографическая стилистика “Египетской марки” у Мандельштама // Киноведческие записки. 1991. № 12. С. 151).

“Путешествие в Армению” – это сложное, многоплановое повествование, состоящее из импрессионистических лаконичных “мазков” пейзажа, портретных набросков, параболических экскурсов в историю, письма к знакомому, оригинальных заметок о живописи и теориях великих натуралистов и современной теории Гурвича, осторожных, но внятных выпадов поэта-филолога по адресу яфетической теории Марра, злободневной литературной критики, обрывков, дневных записей, внутреннего монолога с эпохой. Каждый из названных мотивов – полноценный зародыш жанровых форм.

Единство мандельштамовского текста-путешествия кроется прежде всего в тематическом, точнее, мотивном плане. Сквозь текст проходят, помимо солирующей армянской, библейская тема, тема современности, с которой автор находится в постоянном споре, тема свободной личности.

Раз возникающие троп, образ или метафора конституируются и, повторяясь, становятся обозначениями и характеристиками предмета, человека или явления. Например, с помощью перекликающихся тропов происходит семантическое связывание целых главок. Химик Гамбарьян, который “горячится, как фехтовальщик из франкской земли”, соотносится с естествоиспытателем Ламарком; детская любовь к желудям – с тем, что Сезанн – “лучший желудь французских лесов”.

“В семантические циклы у Мандельштама увязаны не только ключевые слова, а все, которыми он пользуется. Мировая культура освоена им, одомашнена и выстроена” (Багратиони-Мухранели И.Л. Указ. соч. С. 151).

Особый интерес представляет в “Путешествии в Армению” мифологическая тема. Например, образ саламандры, который глубоко связан с темой личностного и человеческого поведения самого Мандельштама – ведь саламандра, помимо широкоизвестной эмблемы неуничтожимости, еще и символ праведности.

Другой пример: “Институт народов Востока находится на Берсеневской набережной, рядом с пирамидальным домом правительства. Чуть подалее промышлял перевозчик, взимая три копейки за переправу и окуная по самые уключины свою ладью” (Мандельштам О.Э. Указ. соч. Т. 2. С. 143). Ладья, конечно, ладья Харона. Но и дом правительства назван пирамидальным не по внешнему сходству с пирамидой, а по его функциональному признаку – гробницы.

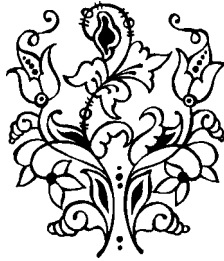
Перечислим некоторые художественные приемы Мандельштама в “Путешествии в Армению”. Сочетание контрастов: *богомольные пикники; фотографическая молельня* (комната с фотопортретами. – А.Г.-К); *тамерлан добродушия*.

Метонимия: *звук топтался на месте* (двигатель не заводился. – А.Г.-К); *благонамеренный замок; плутоватая зайчатина*.

Синэстетические эпитеты, т.е. выражающие одновременное восприятие разными органами чувств: *студеные судороги; рыбачья сетка волейбола*.

Характерный пародийно-сатирический подтекст: “женщина к тому же не владела ключом познания”; “академик Марр, только что промчавшийся через Москву из Удмуртской или Вогульской области в Ленинград”; “безбожное изобилие капусты”; “экс-хлысты, переставшие радеть”; “бледная тень ибсеновской проблемы или актер МХАТа на даче” и т.п.

“Путешествие в Армению”, безусловно, является одним из высших достижений эссеистического жанра в русской литературе XX века. Оно находится на скрещении традиций “Писем русского путешественника” Н.М. Карамзина, “Путешествия в Арзрум” Пушкина и литературы “серебряного века”.



ЭТИКА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

*М. Н. ПАНОВА,
кандидат филологических наук*

Как известно, соблюдение языковых норм и правил – важное, но не единственное условие речевой культуры. Она предполагает также и умение партнеров строить свое речевое поведение с соблюдением норм этики. Речевая этика – это правила должного речевого поведения, основанные на нормах морали, национально-культурных традициях (Культура русской речи. М., 1998. С. 90).

Рассмотрим причины значительного “снижения планки” культуры общения в государственных институтах, в сфере управления в последние годы.

По мнению многих лингвистов, все кардинальные социально-экономические изменения, в том числе революции, различные реформы, перестройки общественной системы и т.д., отражаются на состоянии языка: он становится другим “в связи с изменением контингента носителей” (формулировка Е.Д. Поливанова). В нашей стране, находящейся на крутом повороте истории, в течение уже полутора десятка лет происходят бурные и существенные изменения, затрагивающие все стороны общественной жизни.

Обычно подобные изменения характеризуются обострением идеологической борьбы, вспышками социальной нетерпимости и неприязни. В служебных отношениях, а тем более в политической дискуссии часто используются “сильные выражения”, экспрессивные оценочные языковые средства с целью дискредитации, оскорбления, унижения собеседника. Участники устных дискуссий и авторы полемических статей в периодических изданиях обмениваются весьма неслестными высказываниями типа: “правлящий антинародный режим”; “коммунисты являются преступной организацией”, “мы вас будем молотить” и т.д.

Возможно, участвовавшее использование в публичной речи бранных слов – это естественная расплата за прежнюю ненормальную стерильность, безликость публичной речи. Но скорее всего, это связано с распушенностью, вседозволенностью, нередко – с популизмом, желанием выглядеть перед рядовыми гражданами “своим в доску”, принципиальным и смелым.

Так, выступая в средствах массовой информации и комментируя точку зрения оппонента, современные чиновники и общественные деятели нередко оценивают ее с помощью таких слов, как “бред”, “словоблудие”, “чушь”, “болтовня”, “маразм”. Подобные “издержки демократизации” часто свидетельствуют о невоспитанности, несдержанности, о конфликтной направленности сознания говорящих, в том числе некоторых служащих госаппарата, которые зачастую следуют так называемому советскому риторическому идеалу, сутью которого было решительное разоблачение оппонента.

Многие чересчур эмоциональные высказывания в недавнем прошлом были также связаны с частыми кадровыми перемещениями в высших эшелонах власти (*кадровая чехарда, неразбериха, подковерная борьба, кукловоды, дворцовая политика*), в них проявлялось недовольство нестабильностью аппарата государственной службы.

Итак, резкое изменение социокультурной ситуации в обществе, переоценка ценностных систем и нравственных ориентиров и, как следствие, нравственный релятивизм, усиление политической борьбы в условиях складывающейся многопартийной системы, недостаточно высокая культура участников общения, превратно понятое “свобода слова” и “демократизация” общественной жизни – главные причины снижения уровня культуры и этики общения.

Для современного речевого общения характерно использование слов, находящихся за пределами литературного языка: это инвективная и обценная лексика. Одной из печальных примет нашего времени является фактическая “легализация” мата, который В. Даль называл “похабством, мерзкой бранью”. На публичное употребление этой небольшой группы слов в культурном обществе накладывается табу. Однако в наши дни мат буквально пронизывает все слои населения, щегольнуть нецензурным выражением некоторые образованные люди, включая и представителей государственного административного “истеблишмента”, считают едва ли не шиком, “оживляем”, проявлением раскрепощенности, деловитости, сильного характера и незаурядной воли.

В любом языке существует жаргонная лексика, то есть специальные слова, используемые определенной социальной или профессиональной группой. Однако изобилие жаргонной лексики в речи государственных служащих – людей, занимающих заметное положение в общественной иерархии, вызывает обоснованный протест со стороны интеллигенции, деятелей образования и науки.

В повседневное деловое общение и в публичные выступления некоторых ораторов проникли слова из молодежного сленга – *крутой, тусовка, тусоваться*, из языка наркоманов – *крыша поехала, быть в отключке* и другие. Но особенно часто речи выступающих изобилуют лексикой из уголовного жаргона: *нахапать, разборки, наехать, обцак, кинуть, обуть, замочить* и т.п.

Лингвисты и психологи убеждены, что засорение языка подобными словами – это не только отражение криминализации общества, но и свидетельство активного проникновения криминальных элементов в общественную и политическую жизнь страны. Кроме того, эти слова несут в себе “заряд” психологии и мировоззрения криминального мира, поэтому их массовое использование в речи далеко не безобидно. Вполне логично выглядит такое развитие событий: от ненормативной лексики – к ненормативным действиям.

К сожалению, надо признать, что приведенные примеры грубейшего нарушения норм этики и культуры речевого общения свидетельствуют о проявлении говорящими не только невысокой речевой, но и общей культуры. По мнению В.Г. Костомарова, современный русский язык «...отражает дремучую неграмотность и грубость некоторых парламентариев, сознательную ставку на “блатную музыку” многих газет, бездарность популистской фразеологии и рождающегося рекламного языка, а также уродливое подражание части молодежи зарубежному сленгу, а деловых людей – речи иностранных бизнесменов». Он объясняет сегодняшние речевые ошибки “терпимостью языкового вкуса эпохи, либеральностью речевой жизни граждан уходящего от одномерного авторитаризма общества” (Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. М., 1997. С. 288). И речевое поведение госслужащих в этом смысле не является исключением.

Мы рассмотрим некоторые вопросы, связанные с культурой и этикой служебного общения, используя в качестве иллюстраций примеры из речи государственных служащих, проходивших обучение в Российской академии государственной службы (РАГС). Кроме того, нами был проведен эксперимент в одном из министерств: по нашей просьбе сотрудник центрального аппарата этого министерства записывал на диктофон свою речь на протяжении рабочего дня. В статье используются также примеры из выступлений госслужащих в СМИ. Мы не всегда называем имена авторов отдельных высказываний, приводимых в качестве иллюстраций, так как считаем, что типичные явления, обнаруженные в речи этих чиновников, можно экстраполировать и на речевое поведение других государственных служащих. В данном случае важна тенденция – учатившиеся случаи несоблюдения этических норм служебного общения. Эта тенденция является знаковой для современной языковой ситуации.

Каждому периоду истории, типу управления соответствует свой образ государственного служащего. Что касается нарушения этичес-

ких норм делового общения власть имущими, то они не могут быть атрибутированы как явления только нашего времени. На самом деле эти явления имеют свою предысторию. Из исторической и художественной литературы известно, что любили крепко выражаться многие высокопоставленные и рядовые чиновники, государи и их приближенные.

Обратившись к советскому периоду истории, мы вновь убедимся в том, что представители власти, работники госаппарата довольно часто использовали нелитературную лексику. По словам внука Н.С. Хрущева, «в советском руководстве было много людей, которые не только говорили, но и мыслили “по-матерному”». Ворошилов, Буденный, да и Сталин оставляли резолюции с нецензурными словами на документах (АиФ. 1999. № 16).

Здесь уместно вспомнить и знаменитый эпизод на Генеральной Ассамблее ООН в 1960 г., когда представитель Филиппин позволил себе покритиковать тогдашние порядки в СССР, а Н.С. Хрущев, стуча ботинком по трибуне, пообещал показать “кузькину мать”.

В наши дни в выступлениях некоторых деятелей можно услышать не менее “яркие” выражения. Однако сейчас благодаря СМИ они тут же становятся достойным общественности, и политики, заботящиеся о своей репутации и имеющие представление о существовании этики поведения должностных лиц, неписаного кодекса делового поведения, корпоративной чести, стараются не допускать промахов, а если допускают, потом сожалеют об этом. Конечно, можно при желании объяснить обращение должностных лиц к нецензурщине “нервной” работой, желанием снять стресс, но оправдать это все-таки нельзя и следует расценивать как оскорбление общественной морали.

Разумеется, на государственной службе всегда были и есть люди воспитанные, подлинные интеллигенты, осознающие свою нравственную ответственность перед обществом и служащие ему.

Словарь русского языка в 4-х томах отмечает девять значений глагола *служить*, среди которых:

- работать по найму, исполнять обязанности служащего;
- быть слугой, прислугой;
- исполнять обязанности по отношению к кому-либо, выполнять чью-то волю, находясь в чьей-то власти, подчиняясь кому-либо;
- работать, трудиться во имя чего-либо, на благо кого-, чего-либо;
- быть, являться чем (например, служить примером) и др.

В.И. Даль в своем “Толковом словаре живого великорусского языка” приводит следующие значения глагола *служить*:

- годиться, пригодиться, быть пригодным, полезным, быть орудием, средством для цели, идти в дело, на дело, быть нужным, надобным;
- оказывать услуги, услуживать, прислуживаться;

– состоять на государственной либо общественной службе, при должности, занимать место с известными обязанностями, быть при месте.

Все эти значения глагола *служить*, а также однокоренных – *обслуживать*, *выслуживаться*, *прислуживать(ся)* – определяют многообразие отношений на государственной службе, самоощущение госслужащим своей роли, своего социального престижа.

Интересно сравнить и толкования других понятий, актуальных для госслужбы. Например, в словарях современного русского языка слово *управление* означает “деятельность органов государственной власти” (от глагола *управлять*, то есть “руководить, направлять деятельность кого(чего)-нибудь” – Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1983), а заимствованное слово *администрирование* (от лат. *administrare*) часто определяется как “бюрократические, формальные методы управления посредством командования вместо конкретного руководства” (Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. М., 1998). Значения, выражаемые этими словами, определяют (иногда, возможно, подсознательно) этику деловых отношений на государственной службе, в том числе и речевое поведение чиновников, и культуру служебного общения.

Язык для госслужащего – это инструмент его профессиональной деятельности, и чем он совершеннее, тем эффективнее труд чиновника. От культуры служебных отношений, которую демонстрирует чиновник, зависят его авторитет и имидж. Но, к сожалению, не всегда речевое поведение госслужащих может быть примером для подражания.

В административных учреждениях нередко можно наблюдать отношения формализма, бюрократизма, царящие среди самих служащих, а также высокомерное, а порой и грубое поведение начальства по отношению к своим сотрудникам.

Разумеется, хамской манеры поведения, грубости, неуважительного отношения к сослуживцу или посетителю никогда не допустит культурный, высокообразованный специалист. Более того, вряд ли он совершит и другие неэтичные поступки на службе. И не случайно, по данным социологического исследования, проведенного кафедрой государственной службы и кадровой политики, на вопрос: “В чем причина аморального поведения определенной части государственных служащих?” 24% опрошенного населения и 22.7% самих госслужащих ответили: “Недостатки воспитания госслужащих, их низкая общая культура” (Отчет по НИР “Разработка свода этических правил государственного служащего”. М., 1997. С. 166).

По данным исследования, 15.1% госслужащих не удовлетворены морально-психологическим климатом в коллективе, 26.1% чиновников оценивают моральную атмосферу в аппарате органов государст-

венной власти как “относительно напряженную”, где “каждый сам по себе”. Вместе с тем вызывает сожаление отношение значительной части служащих к этическим нормам поведения в коллективе: почти 40% из них считают, что манера поведения государственного служащего, в том числе грубая речь, – “это его личное дело” и “никто не должен в это вмешиваться”. Такое непонимание важности этики общения в государственных органах власти следует оценивать как тревожный симптом.

Служебное общение бывает межличностным (при общении сотрудников, руководителя и подчиненного) и публичным (выступление перед аудиторией на совещании, в средствах массовой информации и т.д.).

Публичное деловое общение – это общение с целью привлечь внимание. Поэтому речь выступающего, как правило, эмоциональна, в ней используются яркие, броские обороты. Говорящий прогнозирует и планирует определенное воздействие своей речи на аудиторию, с этой целью он использует приемы риторики – искусства убеждать, выбирает образные, выразительные языковые средства.

Типичные нарушения этических норм общения в публичной речи чиновников и политиков – это, в частности, недопустимый тон обращения к оппоненту, использование грубо-просторечной лексики, “навешивание ярлыков”, использование метафор, имеющих отрицательный смысл.

Ужесточается риторика политических оппонентов обычно перед очередными выборами, в периоды обострения “классовой ненависти”, в сложной политической ситуации.

Естественно, что обсуждение серьезных вопросов, например внешнеполитических, происходит очень эмоционально, характеризуется столкновением различных точек зрения, высоким уровнем накала страстей. Однако даже в этих случаях следует различать патриотизм и нетерпимость, принципиальность и грубость, эмоциональность и несдержанность.

Вот, например, некоторые высказывания, выражающие мнение депутатов Госдумы о своих коллегах – парламентариях и некоторых других политиках при обсуждении на заседании Госдумы ситуации в Югославии: “натовский шпион”, “негодяй”, “пес”, “эти три политических попугая летают по Европе”, “три обанкротившихся политика, разжиревших на страданиях народа”, “политические ворюги и шестерки”, “голова у него чугунная”, “занимается политической проституцией”.

Конечно, можно понять оратора, когда он хочет внести в свое выступление “изюминку”, придать ему образность и выразительность. Да и не следует стремиться к стерильной, безвкусной, как дистиллированная вода, речи, не оставляющей следа в сознании слушающих.

Однако важно отличать подлинную образность от ложной, и совершенно необходимо, чтобы яркость речи не вступала в противоречие с этическими нормами общения, с принципом вежливости, которая по словам Н.А. Бердяева, “есть символически условное выражение уважения ко всякому человеку”.

Вежливость в речевом общении выражается в безусловном запрете грубых, тем более нецензурных выражений, замене их эвфемизмами. Напротив, постоянное и целенаправленное использование дисфемизмов, в частности, инвективной и обценной лексики в речи – проявление бестактности, невысокой речевой культуры.

Существуют непреходящие нравственные, этические ценности, принципы делового общения, безусловное соблюдение которых – обязательное условие грамотного администрирования. Среди них – расовая и национальная терпимость, уважение к женщине, людям старшего возраста, к своей родине, которую некоторые чиновники, выступая в СМИ, часто равнодушно, отстраненно называют “эта страна”.

Совершенно недопустимы проявления ксенофобии – высказывания, оскорбляющие человека определенной национальности, а также выпады в адрес представителей определенной социальной группы: они задевают чувства многих людей. “Вы, колхозник, не можете этого понять...”, – заявил своему коллеге один политик. Корреспондент “Независимой газеты”, рассказывая о молодом, динамичном политике, бывшем высокопоставленном чиновнике, пишет, что его “раскованность сплошь и рядом оборачивается хамоватостью, интеллектуальность оказывается весьма поверхностной...”. В качестве примеров приводятся высказывания героя статьи: “Зачем же оскорблять женщину? Женщина ведь тоже человек”; “Они (депутаты. – М.П.) как позор нации вещают всякую глупость. Некоторые за время сидения в Думе поглупели, а некоторые просто стали идиотами”. “Чиновник высокого ранга, – считает корреспондент, – не должен позволять себе персональных выпадов, за которые во времена Пушкина требовали к барьеру. Если он позволяет себе это..., то, значит, уповает на привилегию безнаказанности, которую дает ему должность” (Независимая газета. 1999. № 10).

В отличие от публичной речи повседневное служебное общение не предполагает внимания большой аудитории, наличия зрителя, поэтому устная деловая речь в узком кругу коллег более интимна и камерна, с одной стороны, а с другой – нередко более откровенна.

Анализ этического аспекта речевого поведения государственных служащих, основанный на наблюдениях за речью государственных служащих в РАГС, а также результатах упомянутого выше лингвистического эксперимента, показал следующее: инвективы и обценнизмы в повседневной устной деловой речи встречаются нечасто.

В основном, они используются в узком кругу сослуживцев в функции вводных слов или слов-паразитов. Удельный вес собственно уголовного жаргона в устной деловой речи тоже незначителен, и, конечно, подобная лексика употребляется только в разговоре с коллегами-приятелями. Причем реакция собеседника не реплику коллеги "...потому что они с ним в одной камере сидят и делают пайку" явно осуждающая: "Не болтай!"

Следующая, причем довольно обширная лексическая группа – это грубопросторечные слова, часто имеющие словарную помету: "бранное", "неодобрительное", "пренебрежительное", "презрительное", "уничижительное": *дурдом, шкурные интересы* и др. Подобные слова также используются в узком кругу коллег; в ситуациях служебного полуофициального общения: "Мне плевать, что он так думает"; "Какой козел составил этот список!"; "Ч. молол такую чепуху!"; "Он выпендривается".

Довольно много было обнаружено слов так называемого общего жаргона. Под термином "общий жаргон" мы вслед за авторами "Толкового словаря русского общего жаргона" (Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. Слова, с которыми мы все встречались. М., 1999) понимаем тот пласт современного русского жаргона, который, не являясь принадлежностью отдельных социальных групп, с достаточно высокой частотностью встречается в языке СМИ и употребляется (или, по крайней мере, понимается) всеми жителями большого города, в частности, образованными носителями русского литературного языка. Впрочем, в общий жаргон нередко входят слова из маргинальных субкультур (*завязать, чернуха, кайф, расслабляться, динамить, вклеить, заколевать, совок, фишня, беспредел* и др.).

На периферии общего жаргона находится часто употребляемое *блин* – эвфемизм известного нецензурного слова, явный фонетический намек на него. Есть и другие примеры использования в устной деловой речи общего жаргона: "Я понимаю, что это совок"; "Не буду вас напрягать"; "Потом бы выяснилось, что это не так – он бы мне вклеил!"; "У нас уже был прецедент, когда П.П. прикладывали"; "...а то, что меня нагружат, так это, как говорится, вопросов нет"; "Он постоянно кого-то чем-то загружает"; "Я от него сегодня получил по полной программе"; "Мне до фонаря их вредность".

Последняя группа – слова литературного языка с отрицательной эмоциональной оценкой: *дурак, врать* и др.

Считается плохим тоном менторски исправлять в речи собеседника ошибки, связанные с нарушением языковых норм – норм современного литературного языка, хотя, безусловно, такие ошибки не украшают говорящего. Думается, что на нарушение этических норм служебного общения, в первую очередь официального, публичного, нельзя не обращать внимания.

В обсуждаемом сейчас Госдумой законопроекте “О русском языке как государственном языке Российской Федерации” подчеркивается: “В официальных сферах использования русского языка как государственного языка Российской Федерации сквернословие, употребление вульгарных, бранных слов и выражений, унижающих человеческое достоинство, не допускается”. Кроме того, предполагается, что нарушение закона повлечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность. Однако не менее важно, чтобы у каждого чиновника был еще и свой “внутренний цензор”.

Государственная служба как социальный институт должна представлять собой не только образцовый тип управления, но и быть примером нравственности и культуры отношений. От престижа власти в глазах общественности, от степени доверия к ней зависит успех реформирования общества.



Пиар и другие аббревиатуры

В. М. ЛЕЙЧИК,

доктор филологических наук

Около ста лет назад в русском языке, как и в других европейских языках, начали широко применяться сокращенные слова – аббревиатуры, которые представляют собой как бы “стяжение” словосочетаний. Если раньше, уже со времен Древнего Рима, и существовали такие сокращения, то лишь на письме, например, латинское *etc.* от *et caetera*, русское *и т.д.* от *и так далее*. С начала XX века их стали не только писать в сокращенной форме, но и произносить. Иначе говоря, графические аббревиатуры были дополнены лексическими, то есть похожими на слова. И это дало возможность известному ученому Д.И. Алексееву, одному из авторов очень полного словаря советской эпохи, не потерявшего актуальности и сегодня (Алексеев Д.М. Гозман И.Г., Сахаров Г.В. Словарь сокращений русского языка. М., 1983), утверждать, что аббревиация стала отдельным способом словообразования.

За истекшее столетие структура произносимых аббревиатур в русском языке прошла три этапа. Вначале у них была случайная, неупорядоченная структура (*угоро* – уголовный розыск, *ликбез* – ликвидация безграмотности). В 40–80-е годы XX века получили широкое распространение строго фиксированные, повторяющиеся во множестве аббревиатур части слов, как правило, оканчивающиеся на согласный звук: *мин* (министерство), *транс* (транспорт), *стром* (строительная машина), *райисполком* (районный исполнительный комитет); тогда же закрепились инициальные аббревиатуры типа *НИИ* (научно-исследовательский институт), *КВН* в маркировке телевизоров и т.п.

В результате использования звуков, букв, слогов в последние десятилетия мы конструируем аббревиатуры, по крайней мере, трех типов:

– состоящие из первых звуков или букв слов, входящих в словосочетание – так называемые акронимы: *СУБД ДИПС* (система управления базами данных документальных информационно-поисковых систем), а также слоговые аббревиатуры вроде *деморосс* (сторонник движения “Демократическая Россия”);

– аббревиатуры любой структуры, напоминающие при их произнесении слова русского языка: *токамак* (название ядерной установки, состоящее из частей слов: *ток*, *камера*, *магнитная катушка*); *бомж* (человек без определенного места жительства); название газеты по трудоустройству *РУС* (*работа, учеба, сервис*). Подобные аббревиатуры московский терминолог В.П. Даниленко удачно назвала “словоидами”: и не слово, и как бы слово;

– аббревиатуры, полностью совпадающие по звучанию со словом: *САДКО* (система автоматизированного диалога и коллективного обучения, созданная в вычислительном центре Минобразования России). Поскольку форма этих аббревиатур-акронимов объясняется, мотивируется и тем словосочетанием, на базе которого они образованы, и тем словом, с которым они по звучанию совпадают, их называли словами с двойной мотивацией или акронимами-омонимами. Форму таких аббревиатур нередко специально подгоняют под звучание слов, что создает подчас комический эффект: *бич* (бывший интеллигентный человек), *БАРС* (Большой англо-русский словарь).

В настоящее время процесс создания словоидов и слов с двойной мотивацией стал почти повсеместным, причем не только в русском языке. Вот для сравнения английская аббревиатура этого типа, придуманная в Японии: документальная система *HUNDRED* – Hiroshima University New Document Retrieval And Dissemination, это название совпадает по форме с английским словом *hundred* (сто).

Появление и активное применение словоидов и слов с двойной мотивацией стало естественной реакцией на создававшиеся в массовом количестве в советскую эпоху неудобнопроизносимые, длинные буквенные аббревиатуры. Попробуйте выговорить *ВНИИХСЗР* (Всесоюзный научно-исследовательский институт химических средств защиты растений), но не лучше и уже новое *ГИБДД* (Государственная инспекция безопасности дорожного движения), которое подвергается критике на разных уровнях. И уж если было необходимо конструировать акронимы, состоящие из множества согласных букв, то чаще всего эти буквы произносились так, как они называются в русском алфавите, либо же часть элементов акронима произносилась как буквы, а часть – как звуки, так что получались звуко-буквенные аббревиатуры: *ЦСКА* (Центральный спортивный клуб армии; читается *цэ-эс-ка*).

Надо сказать, что ради благозвучия элементы аббревиатур читались, как названия русских букв, почти с самого начала развития этого способа словообразования: *эсер* – это социал-революционер, а *кадет* – это член конституционно-демократической партии (первое десятилетие XX в.). Но тогда подобные образования были так же неупорядоченны, как и другие “осколки” слов в аббревиатурах вроде *главковерх* (верховный главнокомандующий). Интересно, что иноязычные, в том числе интернациональные аббревиатуры-акронимы, пришедшие из французского, испанского, итальянского и других языков, читались и поныне читаются по звукам, как и в международной практике: франц. *F.A.I.* – *Fédération Aéronautique Internationale* – произносится по-русски *ФАИ*; нем. *DIN* – *Deutsche Industrienorme* – немецкий стандарт, произносится по-русски *ДИН*. Если же они состоят из согласных звуков, то читаются чаще всего с использованием названий латинских букв: польск. *PPS* – *Polska Partia Socjalistyczna*, произносится по-русски *Пэ-пэ-эс*. В ряде случаев интернациональные аббревиатуры переводятся по составляющим их словам, и тогда они читаются, как и обычные русские сокращения: англ. *UNO*, франц. *ONU*, русск. *ООН* – Организация Объединенных Наций.

Когда же в русский язык широким потоком хлынули англо-американские слова и словосочетания из области экономики, новейших видов спорта, компьютерной техники и технологии рекламы, пришла пора освоения английских аббревиатур всех видов. Первоначально, когда сокращения, входящие в перечисленные сферы, были единичными, непривычные английские акронимы читались ошибочно как сочетания русских или латинских букв. Так, в цитированном выше словаре сокращений название американской радиовещательной компании *Columbia Broadcasting System* – *CBS* представлено в форме *КБС*, хотя оно произносится по-английски *си-би-эс* и так же должно читаться по-русски. В равной мере, неправильно произносилось сочетание букв *WC* (*ви-си* вместо *дабл ю-си*) от *water closet* – туалет, уборная. Но по мере того как людей, достаточно хорошо владеющих английским языком, в России становилось все больше, процесс освоения таких аббревиатур пошел по двум направлениям.

С одной стороны, в русских, как и в немецких, французских, итальянских, датских, польских, чешских текстах, пользующихся как кириллицей, так и латиницей (латинской письменностью), появились в качестве вкраплений англо-американские аббревиатуры, которые пишутся латинскими же буквами и произносятся соответственно по звукам или по английским буквам, как в языке-источнике. Это, например, семья наименований, связанных со Всемирной паутиной в Интернете *Web* (*World Wide Web*), а именно: *Web-страница*, *Web-сервер*, *Web-технология*, а также *WWW-страница* и др. Точно так же это группа сочетаний слов со звуковой аббревиатурой *VIP* – *very important*

person, называющих самых разных “важных” людей: *VIP-гость*, *VIP-звезда*, *VIP-ложа*, *VIP-мероприятие* и даже малограмотное *VIP-персона*. Наряду с ними используются звуко-буквенные аббревиатуры: *CD-ROM* (compact disc–real only memory). Подобные вкрапления в устной и письменной речи политических деятелей, бизнесменов, ученых, инженеров, сотрудников телевидения исчисляются сейчас уже десятками.

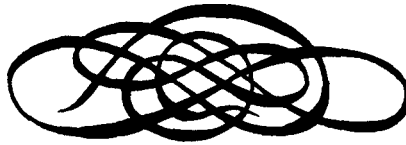
С другой стороны, англо-американские аббревиатуры начали писать в прессе и в специальной литературе, а затем и в художественных произведениях русскими буквами, но с отражением их звукового облика в языке-источнике. Самой распространенной является буквенная аббревиатура *пиар* от английского *PR*–Public Relations. Этот акроним вызывает наибольшие споры как у журналистов, так и у лингвистов, прежде всего, потому, что его значение не всем понятно (почему не “общественные отношения”, а “связи с общественностью” – первоначально “отдел по связям с общественностью” в средствах массовой информации и на промышленных предприятиях). Кроме того, неясно, как его писать по-русски.

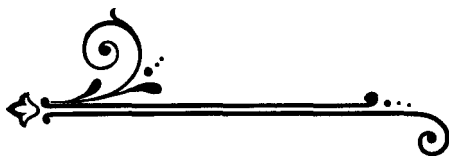
Главный редактор нового текста Орфографического словаря В.В. Лопатин предложил закрепить форму *пиар* по понятной причине – эта аббревиатура по звучанию сходна со многими русскими словами: *пожар*, *базар*, *товар*. Отвечая на несколько вопросов посетителей портала “Русский язык” в Интернете (сайт www.gramota.ru; электронный адрес: spgavka@gramota.ru), сотрудники портала рекомендуют применять только эту форму и не советуют писать “паблик рилейшнз” или “паблик релейшнз” (как проявление пижонства, сказали бы мы). А в одном из наиболее полных словарей новейшей лексики – в Толковом словаре современного русского языка: Языковые изменения конца XX столетия. Под ред. Г.Н. Складчиковой. М., 2001 – приводятся слова: *пиар*, *пиарить*, *пиар-кампания*, *пиаровец*, *пиарицик* (которое признается разговорным, но, на деле, является более употребительным, чем *пиаровец*), *пиаровский*; однако в словаре фиксируются также взятые из недавней прессы слова: *PR*, *PR-агентство*, *PR-акция*, *PR-бизнес*, *PR-кампания*. В сфере живого языка трудно делать прогнозы, но все же можно предполагать, что закрепится первый вариант – *пиар*, а объединение *PR* со словами *акция* и др. отпадет как избыточное.

Думать так заставляют постоянный рост числа заимствуемых аббревиатур, произносимых по названиям английских букв, но записываемых русскими буквами. Особенно много их в области электронной техники. Это и *си-ди* (от compact disc), которое полностью совпадает по звучанию с русским словом *сиди*. Это и *пи-си* (от personal computer), которое напоминает русские слова *виси*, *неси* и которое, став объектом множества шуток, вошло с разными добавками в компьютерный жаргон. Это и *ди-ви-ди* (от digital versatile disc), которое похоже на *по-*

годы или доведи. Это в индустрии развлечений *ди-джей* (есть вариант *диджей*, от *disc jockey*), словоид, сходный с *лакей*, *Еремей*. По буквам читаются, как и в английском языке, и русскими буквами пишутся названия агентств: “*Си-Эн-Эн*” и “*Би-Би-Си*”, наряду с читаемыми, почти как в английском, звуковыми аббревиатурами типа *NASA* (*National Aeronautics and Space Administration*), которое произносится, как русские слова *наша*, *Маши* и т.п.

Подводя итог, можно сказать, что в русском словообразовании открылась новая страница: широкое заимствование не только слов и словосочетаний, но и аббревиатур из английского языка в их почти оригинальном звучании (фиксируемом русскими буквами). Важно подчеркнуть, что этот процесс является продолжением живых тенденций в аббревиации, действовавших в русском языке на протяжении всего 20-го столетия. А будет ли он расширяться – это зависит от многих факторов, в том числе неязыкового характера. Во всяком случае, как это обычно происходит в самобытных языках, а к ним относится и русский язык, сохраняются и развиваются те явления, которые служат обогащению и процветанию языка.





СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПОМЕТЫ В ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ

О. Н. ЕМЕЛЬЯНОВА,
кандидат филологических наук

Как известно, одной из задач толкового словаря является отражение стилистического расслоения лексики языка. В настоящее время существует несколько способов, используемых авторами-составителями словарей для решения этой задачи. Что же это за способы?

Основное лексикографическое средство стилистической характеристики слов – специальные (стилистические) словарные пометы, которые есть во всех толковых словарях современного русского языка. Правда, набор этих помет у каждого словаря свой.

Так, “Толковый словарь русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова (1935 г.) – далее ТСУ – предлагает такую систему помет: 1. Пометы, указывающие на разновидности устной речи (*разг.*, *простореч.*, *фам.*, *детск.*, *вульг.*, *арго*, *школьн.*, *обл.*); 2. Пометы, указывающие на разновидности письменной речи (*книжн.*, *науч.*, *тех.*, *спец.*, *газет.*, *публиц.*, *канц.*, *офиц.*, *поэт.*, *нар.-поэт.*); 3. Пометы, устанавливающие историческую перспективу в словах современного языка (*нов.*, *церк.-книжн.*, *старин.*, *устар.*); 4. Пометы к словам, обозначающим предметы и понятия чуждого быта (*истор.*, *дореволюц.*, *загр.*); 5. Стилистические пометы, указывающие на выразительные оттенки (экспрессию) слов (*бран.*, *ирон.*, *неодобрит.*, *шутл.*, *презрит.*, *пренебр.*, *укор.*, *торж.*, *ритор.*, *эвф.*).

“Словарь русского языка” С.И. Ожегова – далее СО – выделяет следующие пометы, дающие стилистическую характеристику слов: *книжн.*, *высок.*, *офиц.*, *разг.*, *прост.*, *обл.*, *презр.*, *неодобр.*, *пренебр.*, *шутл.*, *ирон.*, *бран.*

“Словарь русского языка” АН СССР в 4-х т. под ред. А.М. Евгеньевой – далее МАС – к стилистическим относит: 1. Пометы, указывающие принадлежность слова к различным пластам лексики русского языка (*обл.*, *прост.*, *груб. прост.*); 2. Пометы, указывающие на сти-

листическую ограниченность употребления слов в литературном языке (*разг., книжн. офиц. и офиц.-дел., высок., трад.-поэт., народно-поэт.*); 3. Пометы, указывающие на специальную область применения слова (*астр., бакт., бухг., геол., зоол.* и др.); 4. Пометы, указывающие эмоциональную окраску слова (*бран., ирон., шутл., пренебр., презр., неодобр. и почтит.*); 5. Помету *устар.* к словам, выходящим из употребления в современном русском языке.

“Словарь современного русского литературного языка” АН СССР в 17-ти т. – далее БАС – сопровождает слова следующими стилистическими пометами: *разг., простореч., обл., устар., народно-поэт., шутл., ирон., бранно, устар. быт.*

При этом пометы одного плана в разных словарях могут отличаться друг от друга. Например, стилистически возвышенные слова и значения в ТСУ имеют пометы *торж. и ритор.*, а в СО – помету *высок.*

Очень часто стилистические пометы при одном и том же слове (значении слова) не совпадают в разных словарях. Так, слово *амуниция* в ТСУ дается без каких-либо помет, в БАС имеет помету *воен.*, в СО и МАС характеризуется как *устарелое*. Слово *диспутировать* в СО и ТСУ имеет помету *книжн.*, в МАС – *устар.*, а в БАС помет не имеет.

Существующие несогласованность и непоследовательность в применении стилистических помет неоднократно отмечались лингвистами (В.П. Берков, Х. Касарес, К. Людвиг, Ф.П. Сороколетов, Л.П. Ступин, Ф.П. Филин, Л.В. Щерба, И.Л. Резниченко, Л.В. Бойко, О.А. Нестерова, Г.Ф. Кузьмина и др.): “Описание стилистического качества слова представлено практически во всех существующих словарях. Однако (...) это описание сравнительно с описанием других свойств лексических единиц до сих пор характеризуется существенно меньшей степенью обоснованности и упорядоченности” (Бойко Л.В. *Стилистическая ценность русского слова и ее отражение в словарях*. М., 1991. С. 3).

Другим средством стилистической характеристики лексики в словарях являются ремарки и различного рода комментарии, помещаемые перед толкованием слов. Например: *в царской России; в математике; в устном народном творчестве; в древнерусской литературе; в книжной речи* и под.

По мнению Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, такие комментарии правильнее было бы называть “несистемными”, “оказиональными” пометами (см. об этом в статье Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова «Оказиональные пометы в “Словаре русского языка” С.И. Ожегова» (К определению места безэквивалентной лексики в современном русском литературном языке) // *Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного*. М., 1973. С. 218–231).

Однако не существует унификации и в употреблении таких ремарок и комментариев. Даже в пределах одного словаря стилистически однородная информация подается по-разному. Так, в СО для описания историзмов используются следующие исторические комментарии: *в царской России; в дореволюционной России; в России до революции; до революции и т.п.*

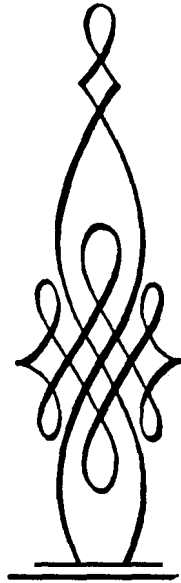
Еще одним способом стилистической характеристики лексики в словарях является само толкование. Так, слово *декабрист* в ТСУ и БАС имеет помету *истор.*, а в СО помет не имеет, но толкуется как историзм: “*Декабрист* – участник дворянского революционно-освободительного движения, завершившегося восстанием 14 декабря 1825 г.”.

Кроме того, в качестве средства указания на стилистические особенности разъясняемого слова нередко используются отсылочные определения. Например, *откупщик* в СО толкуется как *владелец откупа*. Следовательно, для полного понимания значения (в том числе и стилистического) данного слова необходимо обратиться к толкованию лексемы *откуп* (в России XIX в.: монопольное исключительное право на взывание с населения каких-нибудь государственных доходов, предоставляемое частному лицу за денежный взнос с его стороны государству).

Иногда в словарях при описании какого-либо слова используются сразу несколько способов стилистической характеристики. Так, *цесаревич* в СО описывается следующим образом: “*Цесаревич (устар.)*. – В царской России: звание наследника престола”. В данном случае используется как стилистическая помета (*устар.*), так и исторический комментарий (*В царской России*).

Все это говорит об отсутствии единой, принятой всеми (или большинством) концепции лексикографического стилистического описания языка и необходимости дальнейшей разработки приемов и способов распределения стилистической информации в пространстве словарной статьи. Без этого невозможно решить важнейшую задачу лексикографического описания языка – соответствия его реальному, живому употреблению.

Красноярск

Язык прессы***Комические афоризмы в современной газете***

Т. И. ДАММ

“Если афоризм – это хорошо отредактированный роман, то точка – это хорошо отредактированный афоризм”.

С. Сидоров (Лит. газета. 2001. № 19–20).

В литературе, посвященной исследованию малых комических жанров, упоминается шуточный афоризм, который определяется как “лаконичное высказывание обобщенного содержания, характеризующееся столкновением в одном контексте понятий, между которыми возникают неожиданные смысловые связи, не замеченные в результате логического взгляда на вещи” (Щурина Ю.В. Речевые жанры комического // Жанры речи: Сборник научных статей. Саратов, 1999. С. 152).

В настоящее время этот малый комический жанр получил широкое распространение в российских русскоязычных газетах, но его ти-

пология и специфика функционирования в этой сфере остаются неизученными. В настоящей статье мы дадим лишь краткое описание разновидностей шуточного афоризма, бытующих в газетных текстах “на правах” автономных высказываний.

Шутливая сентенция (сентенция – “вид афоризма, краткое общезначимое изречение, преимущественно морального содержания, в изъявительной или повелительной форме”. – Литературный энциклопедический словарь. С. 375): “Скромность украшает, но оставляет голодным” (Твой Додыр. 2001. № 23); “Соль жизни в том, что она не сахар” (Твой Додыр. 2001. № 51); “В жизни каждого человека может наступить момент, когда любая бумага становится ценной” (Комс. правда. 2000. 16 июля); “Чтобы узнать себе цену, надо продаться” (АиФ. 2000. № 3); “Брать от жизни все можно только у других” (Лит. газета. 2001. № 19–20); “Люби ближнего, но и дальнего не забывай объегорить по-родственному” (Лит. газета. 2001. № 48).

Поскольку считается, что афористические жанры сентенции и максимы “различаются своей теоретической и практической направленностью, требуют согласия или исполнения, содержат вывод или предписание” (Литературный энциклопедический словарь. С. 43), последние три из приведенных выше примеров можно считать **шутливыми максимами**.

Жанром, близким к шутливой максиме, даже ее разновидностью, можно считать **шутливый совет** (по сравнению с максимой он не столь императивен), для которого характерны сказуемые со значением побуждения, чаще всего выраженные глаголами повелительного наклонения: “Если вам не нравятся ваше отражение в зеркале, радуйтесь, что оно у вас хотя бы есть!” (Твой Додыр. 2001. № 28); “Если вы очень боитесь располнеть, выпейте перед едой 50 граммов коньяку – он притупляет чувство страха” (Комс. правда. 2001. 14 дек.); “Не надрывайтесь, поднимая свой жизненный уровень” (АиФ. 2001. № 26); “Любите людей, и их станет больше” (АиФ. 2001. № 30); “Гладят против шерсти – линяй!” (Лит. газета. 2001. № 19–20).

Вплотную к шутливым советам примыкают **шутливые лозунги**, частично использующие форму своих нешутливых “собратьев”: “Храните деньги в сберегательных баксах” (Твой Додыр. 2001. № 35); “Юноши и девушки, овладейте друг другом” (Комс. правда. 2001. № 24–25); “Верным курсором идете, товарищи!” (АиФ. 2001. № 24); “Ударим платонической любовью по венерическим заболеваниям!” (АиФ. 2001. № 12) и т.п.

Шутливые пословицы являются одним из самых распространенных малых комических жанров в современной газете. Образуются они путем резкого сдвига в структуре и семантике протопословицы (пословицы – основы). Например: “Что посмеешь, то и пожмешь” (Комс. правда. 2001. № 24–25) – *Что посеешь, то и пожнешь*; “Долг

утогом страшен” (АиФ. 2001. № 27) – *Долг платежом красен*; «Любишь на “Запорожце” кататься, люби и “Мерседесы” чинить!» (Комс. правда. 2001 г. 15–22 июня) – *Любишь кататься, люби и саночки возить*; “Одна голова хорошо, а две лучше – лучше” (Твой Додыр. 2001. № 28) – *Одна голова хорошо, а две лучше*; “Встречают по одежде, а провожают как му-му” (Твой Додыр. 2001. № 35) – *По одежке встречают, по уму провожают*; “Свято место с бюстом не бывает” (Твой Додыр. 2001. 2–8 апр.) – *Свято место пусто не бывает*.

Подобные выражения, несмотря на производимый ими комический эффект, не лишены некоторого обобщающего и, подчас, поучительного смысла.

Аналогичны шутливым пословицам по механизму комического **крылатые выражения предикативного типа**, например: “Человек создан для счастья, как птица для бульона” (Твой Додыр. 2001. № 36) – *Человек создан для счастья, как птица для бульона*; “Если гора не идет к Магомету, значит Моисей заплатил больше” (Твой Додыр. 2001. № 18) – *Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе*; “Пришел, увидел, отойди – дай другим посмотреть” (Твой Додыр. 2001. № 21) – *Пришел, увидел, победил*.

Надо заметить, что в газетах в качестве автономных (независимых от контекста) высказываний, то есть как самостоятельный комический речевой жанр, используются также шутливые трансформации разных устойчивых выражений непредикативного типа, например, названия кинофильмов, литературных произведений, произведений живописи: “А зомби здесь тихие” (Твой Додыр. 2001. № 35) – *А зори здесь тихие* (название кинофильма); “Трое в лодке, не стесняясь собаки” (Твой Додыр. 2001. № 18) – *Трое в лодке, не считая собаки* (название повести Джерома К. Джерома); «Картина “Девочка с персями”» (Лит. газета. 2001. 31 янв. – 6 февр.) – *Девочка с персиками* (название картины В. Серова) и т.п.

Подобные шутливые обороты не выражают суждения, лишены обобщающего смысла и поэтому не могут рассматриваться как разновидность шутливого афоризма.

Шутливое определение (дефиниция), в соответствии с логической структурой определения как такового, содержит в своем составе слово или словосочетание, обозначающее определяемое понятие, или словосочетание (или сочетание слов), посредством которого осуществляется определение (через указание на род и видовое отличие). Шутливое определение, будучи имитацией внешней формы “нормального” определения, лишено логического смысла в той же мере, в какой обладает комическим содержанием, которое может быть усилено включением в состав высказываний этого жанра тропов и фигур. Например:

“Государственные финансы – это искусство передавать деньги из рук в руки до тех пор, пока они не исчезнут” (АиФ. 2000. № 32); “Трезвый – это хорошо выпавший пьяный” (Твой Додыр. 2001. № 17); “Краткость – сестра таланта и теща гонорара” (Твой Додыр. 2001. 26 февр. – 4 марта); “Страховой агент – это человек, который желает нам добра после зла” (Твой Додыр. 2001. № 28); “Демократ – это негодяй, который считает, что таким его сделали коммунисты” (Твой Додыр. 2001. № 18); “Зеркало – это средство коммуникации с умным человеком” (Твой Додыр. 2001. № 51); “Зарплата учителя – это мсть политиков за отравленное детство” (АиФ. 2001. № 44).

Считается, что парадокс “как разновидность остроты принадлежит сфере афористики и обретает свойства комического” (Литературный энциклопедический словарь. С. 267). Комический эффект **шутливого парадокса** зиждется на логической несовместимости сочетаемых в нем понятий и суждений. Например:

“Пусть ты прав, но истина мне дороже” (Лит. газета. 2001. 31 янв. – 6 февр.); “Жизнь штука опасная. Но если вовремя умереть, многих болезней можно избежать” (Лит. газета. 2001. № 19–20); “В честной борьбе всегда побеждает жулик” (АиФ. 2000. № 5); “Мужчина гоняется за женщиной, пока она его не поймает” (АиФ. 2001. № 32); “Дураки учатся на своих ошибках, а умные – на чужих. Выходит, умные учатся у дураков?” (АиФ. 2001. № 17).

На периферии афористики находится жанр, именуемый иногда грегерией. Одно из его определений гласит, что «это остроумное выражение, сходное с афоризмом, парадоксом, крылатым словом, но без их главных отличительных свойств: как афоризм – без его серьезной тематической направленности, как крылатое слово – без его обязательной связи с текстом произведения, как парадокс – без его расхождения с общим мнением (...): “С интересным человеком нескудно и помолчать”, “Сильные характеры отличаются друг от друга своими слабостями”, “Зри в корень”, “Огня в нем было много, но голова все же не варила» (Афоризмы / Сост. Т.Г. Ничипорович. Минск, 1999. С. 12). Приведенная характеристика не дает оснований исключить грегерию из числа афористических жанров, поскольку в ней сохраняются, хотя и не столь последовательно, как в основных видах афоризма, такие важные конститутивные их черты, как краткость, обобщенность содержания и, отчасти, дидактичность. С соответствующими признаками фиксируются высокочастотные в газетных текстах **шутливые грегории**. Например: “Когда есть нечего – все равно, в какой руке вилка и нож” (Лит. газета. 2001. № 48); “Ожидание праздника лучше его последствий” (Твой Додыр. 2001. 26 февр. – 4 марта); “На три вещи можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как льется вода и как бухгалтер выдает зарплату” (Комс. правда. 2001. № 158); “Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно

лихо” (Комок. 2001. 12–18 апр.); “Считать чужие деньги неприлично, а свои неинтересно” (АиФ. 2001. № 7); “Закон справедлив, но всех посадить нельзя” (АиФ. 2001. № 4); “Если с первого раза не получилось – значит, прыжки с парашютом не для вас...” (Твой Додыр. 2001. 2–8 апр.).

Возможно, самую удаленную позицию от центра поля афористики занимают **шутливые газетные заголовки афористического типа**. По своим жанровым признакам они могут совпадать с любым из перечисленных видов комического афоризма (чаще всего – с шутливой сентенцией, шутливой грегерией, шутливой пословицей, шутливой крылатой фразой), однако их объединяет особое место и специфическая функция (заголовок) в газетном тексте. Не будучи непременно наставительными по содержанию, они своей “вписанностью” в конкретный текст напоминают апофегму (наставительное изречение, имеющее автора и соотнесенное с конкретной ситуацией), сохраняя при этом относительную смысловую самостоятельность. Например:

“На то и теща, чтобы зять не дремал” (АиФ. 2000. № 46 – заголовок статьи о роли и отношениях членов семьи); “Нормальные герои всегда идут в обход” (Комс. правда 2001. 17 янв. – заголовок статьи о налогах на продажу автомобилей); «Чем меньше знаем мы законы, тем больше “любят” они нас» (Новая газета. 2000. 31 янв. – 3 февр. – заголовок публикации, направленной против судебного произвола).

Таким образом, шутливый афоризм в газете предстает как речевой гипержанр, расслаивающийся на множество субжанров. Для всех разновидностей шутливого афоризма характерно создание комического эффекта с помощью таких сложных художественно-риторических приемов, как пародирование, отстранение, обманутое ожидание. Что касается более конкретной языковой техники комического, то она в шутливых афоризмах разного типа столь разнообразна, что заслуживает специального освещения.

Красноярск

Что-то новенькое в грамматике? Или в лексике?

*Ю. В. СЛОЖЕНИКИНА,
кандидат филологических наук*

В ряду актуальных современных исследований отметим два направления. Первое – лексико-семантический аспект, связанный с изменением словарного состава языка как отражением изменений в обществе. Отмечается, что наиболее подвержена переменам лексика как самая подвижная и открытая часть языка.

В истории разных языков фиксируются трансформации их фонетико-фонологических систем. Грамматика же как фундамент, основа языка, менее всех других ярусов языка склонна к изменению. Второе направление также обусловлено сломом прежних общественных отношений. Ушедший в прошлое дефицит товаров, появление рынка и конкуренции заставили производителей продукции искать эффективные приемы воздействия на покупателей с тем, чтобы “принудить” их сделать выбор в пользу своего товара. В настоящий момент мы наблюдаем небывалую актуализацию языка рекламы, который, видимо, уже претендует на отнесение к особому функциональному стилю. На стыке этих двух курсов лингвистических изысканий возник вопрос: “С Москва-тур на Красное море! Что-то новенькое в грамматике?” (одноименная статья Л.К. Граудиной. Русская речь. 1998. № 3.).

Можно продолжить примерами из сегодняшней рекламы: “Применение Низорал-шампуня избавит Вас от перхоти на две недели”, “Кожа от Nivea [нивея] всегда великолепна”, “Новинка от Max Faktor [макс фактор]”, “Выходим один на один с Konika [коника]”.

Л.К. Граудина рассматривает такие неологизмы в ряду иноязычных заимствований и ставит вопрос о нарушении грамматической нормы: ведь известно, что чужое слово, попав в другой язык, должно подчиниться его фонетическим, грамматическим и прочим закономерностям. Однако мы наблюдаем упорное нежелание подобных иностранных слов занять место в системе склонения имен существительных русского языка рядом с аналогично грамматически оформленными.

И здесь возможны два варианта: либо перестают действовать языковые законы, что, однако, маловероятно, либо вышеперечисленные

слова и другие такие же являются чем-то иным, нежели то, что мы привыкли понимать под заимствованием.

Авторы учебника “Социолингвистика” В.И. Беликов и Л.П. Крысин излагают свое видение данной проблемы и рассматривают эти языковые единицы в качестве вкраплений: «При заимствовании слово или какая-либо другая единица подчиняется (хотя бы частично) фонетике и грамматике заимствующего языка. При вкраплении сохраняется иносистемный облик вкрапливаемого элемента, но этот элемент употребляется в некоем “застывшем” виде, не изменяясь в соответствии со словоизменительными моделями или с моделями синтаксическими» (М., 2001. С. 30).

И хотя понятие “вкрапление” является окказиональным и не фиксируется лингвистическими словарями, оно очень удачно характеризует функциональный аспект лексем типа *Rexona*, *Rowenta* и проч. Использование в контексте действительно подчеркивает их отличность, отдельность, даже чужеродность во фразе.

И все-таки статус таких слов в лексической системе русского языка остается невыясненным. Очевидно, что подобные названия имеют узкую сферу употребления используются в языке рекламы, следовательно, должны рассматриваться наряду с другими пластами лексики ограниченного употребления или специальной лексики. Их стратификационный статус должен определяться как товарные знаки или торговые марки – это международные слова-клейма, имеющие юридическую регистрацию и сохраняющие оригинальную, исконную графику: *LG*, *WINDOWS*, *MICROSOFT* и др. Именно принцип единообразности товарного знака в разных языках мира обуславливает неизменность их внешнего облика в русском языке и как бы выводит данные слова за рамки грамматики.

Товарные знаки имеют общие черты с другими разрядами специальной лексики. С ними их роднит использование в качестве названия фирмы, продукта и др. С номенами – явная предметная (не понятийная) отнесенность. Но более всего товарные знаки и торговые марки приближаются к символическим: имея единый графический (звуковой) облик в разных языках, они не требуют перевода и адекватно воспринимаются потребителями рекламной информации в разных странах. В частности, благодаря этому свойству рекламные ролики, созданные в странах-производителях товара, могут быть в исконном варианте использованы и на других национальных TV-каналах. Так товарные знаки и торговые марки приобретают свойства международной общности. С психологической точки зрения, в сознании потребителя рекламы закрепляется стереотип: слово, товарный знак, символ – товар, услуга. И всякий раз, отмечает Н.В. Муравьева, когда человек будет сталкиваться с ним, независимо от ситуации, будет возникать напоминание о соответствующем товаре, услуге (Муравьева Н.В. Русская реклама по американскому образцу // Русская речь. 1998. № 3).

Употреблению товарных знаков и торговых марок в устной и письменной речи еще предстоит устояться и кодифицироваться, сейчас же приведем наблюдения над их использованием.

В рекламных текстах товарных знаков часто употребляется без знаков препинания: “пиво Очаково – лучшая форма отдыха”, либо слово пишется буквами одинаковой величины (только строчными или только прописными): «Аппарат “РИКТА” – Ваш домашний доктор», либо и то и другое: “С богатым выбором КИТЕКАТ Вашей кошке не придется скучать!”

Таковыми же неустойчивыми являются и устные рекламные сообщения. С одной стороны, наблюдаются попытки склонения иностранных названий: “Мир, созданный SAMSUNGom [самсунгом], ждет Вас!” или “Дилма [Dilmah] остается Дилмой”, с другой – русские названия перестают изменяться по падежам: «Напитки от “Армада”».

Второй вариант особенно режет слух. Видимо, это почувствовали и производители рекламных роликов и стали предлагать такие формы слоганов, словесное окружение в которых требует постановки товарного знака в исходной форме. Здесь возможны разные варианты.

– Употребление родового слова: “Прохладная, чистая, освежающая вода Аква Минерале”;

– Гипероним выступает в функции сказуемого: “Tuborg [туборг] – пиво с твоим характером”.

– Форма винительного падежа, совпадающая с именительным: “Раз, два, три, четыре, пять – Nesquik [несквик] мы идем искать”; «Пей “Чистый глоток”».

– Согласование товарного знака с именем прилагательным: “Новая Рехопа [рексона] – совсем не то, что было раньше”.

– Использование товарного знака в функции назывного предложения: “Pantene [пантин]. Ты полюбишь свои здоровые волосы”. “Renault Megan [рено меган]. Ни капли волнения”. Между коммуникативными частями таких рекламных слоганов трудно установить какие-либо смысловые отношения.

Формально с последним типом конструкций соотносятся выражения типа: “Colgate [колгейт]. Здоровые белые зубы от природы”. Но, думается, они представляют собой факты парцелляции. Под парцелляцией в языкознании понимают особый прием текстообразования, средство речевой экспрессии, представляющее собой передачу единой синтаксической структуры несколькими коммуникативно самостоятельными единицами. Речевая парцелляция осуществляется с помощью интонации, графическая – посредством знаков препинания. Например, в художественной литературе: “Нередко то бывает с путешественниками: поедут на санях, а возвращаются на телегах. – Летом” (А.Н. Радищев). = Поедут на санях, а возвращаются летом на телегах. Между парцеллятами предложения устанавливаются временные отношения.

Такими же семантически связанными являются и части рекламных фраз. Как в нашем примере: “Colgate [колгейт]. Здоровые белые зубы от природы” = Колгейт – это здоровые белые зубы от природы. Или: “Новый Raid [рейд]. Убивает наповал и защищает надолго!” = Новый “Рейд” убивает наповал...

Синтаксические функции товарного знака-парцеллята могут быть разнообразными.

– Чаще всего он соотносится с подлежащим:

а) “Новый Raid. Убивает наповал и защищает надолго”. А сама такая синтаксическая конструкция представляет собой простое двусоставное предложение с подлежащим – именем существительным и простым глагольным сказуемым;

б) “Maggi [магги]. Это любовь с первой ложки” – подлежащее – товарный знак, простое именное сказуемое с указательной частицей “это”;

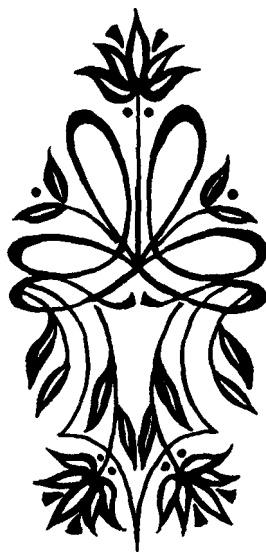
в) “Инолтра. Сильнее боли” – товарный знак – подлежащее, сравнительная степень имени прилагательного в роли именной части сказуемого.

– Со сказуемым, например: “100%-ая польза. Соки и нектары Гольд премиум”. Рекламное наименование по функции соотносится с именным сказуемым.

– С обращением: “Tefal [тефаль]. Ты всегда думаешь о нас”.

Таким образом, в изучении языка масс-медиа на первый план выходят вопросы исследования лингвистических особенностей языка рекламы, разработка вопросов его нормализации и кодификации и культуры рекламной речи.

Самара



**Илья
Федорович
Тимковский**

(1772–1853)

История отечественного языкознания первой половины XIX века почти не представлена в наших книгах и хрестоматиях, а имена первоходцев-филологов этого времени теперь знает не каждый. Между тем именно в то время наука переживала определенный подъем, вызвавший появление интересных и оригинальных трудов по языкознанию, философии и истории, которые тогда не считались разными науками, а выступали в гармонии. Да и само образование гуманитария было настолько синтетично, что в нем мирно уживались многие специальности. Оттого, наверно, филолог конца XVIII – начала XIX века был в прямом смысле любителем и знатоком слова и почти никогда, если говорить о крупных именах, не замыкался только на этой области.

Таков во многом был Илья Федорович Тимковский – оригинальный мыслитель, лингвист, правовед, педагог, деятель русского и украинского просвещения первой половины XIX века.

Родоначальником рода Тимковских был казак Тимко (Тимофей Антонович). Один из его внуков, отец И.Ф. Тимковского, – Федор, получил дворянство и дослужился до чина коллежского асессора. На Черниговщине он приобрел хутор, называвшийся с того времени в народе Тимковщиной. У деда была обычная в Малороссии семья: 6 сыновей и 3 дочери. Многие из них впоследствии стали известными и почитаемыми людьми.

Илья Федорович Тимковский родился 15 июля (по старому стилю) 1772 (по другим сведениям, 1773) года в Переяславле (в некоторых сочинениях именуется по-старому – Переяслав). Первоначальное образование он получил в семье: “Домашнее обучение мое было так многообразно, что казалось бы странным, если б не было в свойствах того времени. Четыре года его составляют особый век.

Первому чтению церковнославянской грамоты научили меня в Деньгах (населенный пункт. – *О.Н.*) мать и, вроде моего дядьки, служивший в поручениях, из дедовских людей, Андрей Кулид. Отец его был турчин или болгар, вывезенный в малолетстве дедом при взятии Хотина в 1739 году. Тот же Андрей носил и водил меня в церковь, забавлял меня на бузиновой дудке, или громко трубя в сурму из толстого бодяка, и набирал мне пучки клубники на сенокосах. Не без того, что ученье мое, утомясь на складах и титлах, бывало в бегах, и меня привязывали длинным ручником к столу” ([Тимковский И.Ф.] Записки Ильи Федоровича Тимковского. Мое определение в службу. Сказание в трех частях // Русский архив, издаваемый Петром Бартевым. Тетрадь пятая. 1874. Стлб. 1381–1382).

В тех местах, на малороссийских просторах, с их естественным природным ландшафтом и с такой же характерностью быта и жизни глубинки, с малых лет впитал И.Ф. Тимковский красоту родного ему переяславского говора: “Природное наречие Переяславля занимательно своею мягкостью [К тому относится, кроме общих изменений, особенно обращение звука *о* в самое чистое и мягкое *и*: мой – мій, свой – свій, он – він, ольха – вильха, кон – кин, пойдет – пійде (прим. автора. – *О.Н.*)], и в формах его встречаются такие тонкости, которые виднее, чем в киевском. Можно было отнести к неким остаткам столицы Мономахова века, по крайней мере давнему стечению образованного многолюдства” (Там же. Стлб. 1406).

Затем его отдали в переяславскую семинарию, об обычаях которой он подробно рассказал в своих воспоминаниях. Так, в частности, “учители были в благоговении, как полубоги” (стлб. 1405). Или: “Праздничные и именинные поздравления от всех классов по одному ученику, с их учителями, приносимые архиерею и ректору, в стихах и речах латинских. В том числе и я имел свою долю” (Там же).

В 1785 г. И.Ф. Тимковский поступил в Киевскую духовную академию. Один из первых биографов ученого, Н.В. Шугуров, писал: “В то время ежегодно один или несколько человек из окончивших курс академии поступали в Московский университет. Переписывались оттуда с своими товарищами, оставшимися в Киеве, уехавшие присылали им вести об университете, профессорах и разных подробностях университетской жизни. Эти известия возбудили и в Тимковском желание, по окончании курса академии, отправиться в Московский университет” (Шугуров Н.В. Илья Федорович Тимковский, педагог прошлого времени // Киевская старина. 1891. № 8. С. 219). С 1789 по 1797 гг. И.Ф. Тимковский обучался на юридическом и философском факультетах Московского университета. На склоне лет он с душевной теплотой будет вспоминать И.И. Шувалова, А.А. Барсова и других кураторов и преподавателей университета. Сама его обстановка, дискуссии, встречи весьма примечательны. Вот как он писал о “Собрании любителей словесности”: “Заседания открывались тем, что один по очереди читал с кафедры, своего сочинения, краткую речь или рассуждение, в приличном роде с ведома председателя. За тем были и другие, которые принесли и читали свои стихи, прозу, изящные переводы, рецензии. Все то обсуждалось подробно, критическим разбором. Входили суждения о новых книгах и мнения о языке и словесности. Случались и споры, которые острили язык – там явились и первые парения Пермяка, Мерзлякова, когда он из гимназистов поступил в студенты. Много раз восклицал он тогда, что Державин ничего лучше не мог сказать, как *И со звездами кофий жирный*” (Тимковский И.Ф. Памятник Ивану Ивановичу Шувалову, основателю и первому куратору Императорского Московского университета // Москвитянин. Ч. III. № 9. 1851. С. 44).

С 1797 г. по требованию генерал-прокурора князя А.Б. Куракина Тимковский был отправлен на службу в Петербург, где вначале преподавал русское правоповедение в Сенатском юнкерском институте, а в 1801 г. поступил в сенатские секретари. В 1802 г. он работал при департаменте министра юстиции Г.Р. Державина. «В то время представил он министру народного просвещения графу П.В. Завадовскому своего сочинения “книгу систематического расположения законов российских”, за которую удостоился Высочайшего благоволения и брильянтового перстня, а книга была передана в комиссию сочинения законов» (Максимович М.А. Воспоминание о Тимковских // Киевская старина. Т. 63. № 11. 1898. С. 263).

По-особому значимым периодом в жизни ученого стала научно-общественная деятельность в Харьковском университете, открывшемся в начале XIX века и ставшем центром образования в Малороссии. “17 марта 1803 года были утверждены штаты университета, и с этого же времени, – пишет один из его биографов, – И.Ф. был зачис-

лен ординарным профессором (...) с поручением преподавать гражданское и уголовное право, а в случае более раннего открытия отделения филологических и словесных наук – читать в нем всеобщую словесность и историю” (Е.И.–в. [Тимковский Илья Федорович] // Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). Харьков, 1908. С. 187). За свои научные заслуги он удостоился степени доктора философии (1807 г.) харьковского университета. Но не только и даже не столько этим ограничивалась деятельность И.Ф. Тимковского: “В то время во всем Харьковском учебном округе не было ни одной гимназии, и в число студентов нужно было привлекать семинаристов...” (Там же. С. 188). Поэтому на его плечах лежала очень ответственная работа, связанная с устройством новых учебных заведений, разработкой университетских программ, попечительством: “Назначение учителей в открываемые гимназии и училища зависело главным образом от Тимковского. Он же в большинстве случаев лично выезжал открывать гимназии, сочинял церемониалы их открытия, произносил речи, экзаменовал зачисленных в гимназии учеников, давал наставления директорам и учителям, составлял списки книг для гимназических библиотек и др.” (С. 191). Все это время он также активно занимался преподавательской работой на кафедре прав гражданского и уголовного судопроизводства в Российской империи. Он читает курсы русского права (1809 г.), государственное и гражданское российское право (1810 г.). А в 1807, 1809 и 1811 гг. его избирали деканом.

Любопытен “состав прав и обязанностей факультета”, в который входило, в частности, «*рассматривание речей*, “приготовленных для чтения в торжественных собраниях». Торжественное собрание университета происходило ежегодно 30 августа, а речи должны быть представлены к 15 июля. Произнесли речи: (...) В 1808 г. проф. *Тимковский* “О применении знаний к состоянию и цели государства” (...) В 1810 г. проф. *Тимковский* “О поместьях” (С. 16). Кроме этого, сюда же входило и “рассматривание сочинений”. В 1812 г. И.Ф. Тимковский представил свою книгу “Опытный способ к философическому познанию русского языка”» (С. 17).

Состав факультета, где работал ученый, был разнородным: в первые годы один только И.Ф. Тимковский был русский, а остальные учителя – иностранцы, среди которых был даже “бывший бенедиктинский монах”. Вероятно, отчасти этим и определялась система обучения и специфика аттестования слушателей. «Из приведенных протоколов испытаний за первые три года существования университета (...) мы видим, что испытания студентов при переходе их с курса на курс производились из тех же предметов, которые они слушали на курсе, а на окончательном испытании – из всех предметов, прослушанных ими в течение 3-х лет; испытание производилось по программам, составлен-

ным преподавателями на латинском, немецком и русском языках; студенты брали по жребию по три билета из каждого предмета и отвечали на языке, доступном экзаменатору. Латинский язык считался “общеизвестным языком” (...), а так как членам факультета Шаду и Лангу русский язык был недоступен, то необходимо перевести программу испытания у проф. Тимковского по русскому языку» (С. 21).

С 1810 г. он состоял членом вновь учрежденного при университете “Комитета для испытания чиновников и преподавания наук молодым людям, обязанным гражданскою службою” (Е.И.–в. С. 191).

Даже спустя почти сто лет после его ухода из университета историки с большой теплотой и почтением вспоминали своего “устроителя”: «Тимковский обладал огромной педагогической опытностью и редкой любовью к школьному делу; его заслуги в деле первоначального устройства были весьма велики; и их по справедливости оценил благодарный ему университет, который в 1811 г., по выходе Тимковского в отставку, постановил вынести в журнал следующее постановление: “Университет всегда с величайшею признательностью будет вспоминать, что устройство весьма многих училищ в округе нашего университета, теперь цветущих, обязано благоразумию, усердию и неутомимому труду проф. Тимковского”» (С. 191; более подробно о деятельности ученого см.: Багaley Д.И. Опыт истории Харьковского университета. Т. I. Харьков, 1894).

Научная и общественная деятельность И.Ф. Тимковского-ученого, преданного и последовательного строителя народного образования, была отмечена степенью доктора *utrisque juris* (1805 г.) Московского университета. А в 1809 г. Геттингенское научное общество избрало его в свой состав.

В 1812 г., во время Отечественной войны с Наполеоном, И.Ф. Тимковский активно участвовал в организации народного ополчения. “Тогда же мы в Глухове, – рассказал он об этом в своих исторических записках, – положили свой совет, на случай входа войск неприятеля, всем владельцам, не отставая от своих имений, ради устройства и целости в них, собраться в городе, как для общей безопасности, так и для связанных действий” (Тимковский И.Ф. Пять лет // Москвитянин. № 6. Кн. вторая. 1855. С. 129). И хотя неприятель так и не дошел до малороссийской глубинки, вся округа находилась в предчувствии большой тревоги, все ожидали последних известий. “Кутузов, – пишет он далее, – держался пословицы: стели неприятелю золотой мост. Мы о бегущих получали карикатуры. Сами перешли на содержание своего ополчения и разные отставки для войск” (Там же. С. 130).

Уйдя в отставку с должности ординарного профессора Харьковского университета, И.Ф. Тимковский с 1815 г. занимал пост выборного судьи в г. Глухове, а с 1825 г. посвятил себя полностью работе в Новгород-Северской мужской гимназии, где он был директором.

Из ее стен в разные годы вышли такие известные педагоги и ученые, как К.Д. Ушинский и М.А. Максимович.

Окончательно он вышел в отставку в 1838 г. и поселился в своем имении Турхановка (в Черниговской губ.), где занимался в основном устройством семьи, написанием своих воспоминаний, а также сельским хозяйством. В одном из московских журналов 1850-х гг. даже вышла научная публикация ученого по проблемам пчеловодства. Там же, в родовом поместье, 15 февраля 1853 г. он и скончался.

Лингвистические познания И.Ф. Тимковского были довольно широко и прогрессивны для того времени, а созданный им один из первых учебников по русскому языку дает, кроме того, и хорошее представление об уровне образованности педагога, его методике, объеме и содержании предмета. Самым известным его трудом в этой области стала книга “Опытный способ к философическому познанию русского языка, сочиненный Ильею Тимковским” (Харьков, 1811). Пособие написано в традиции “всеобщей грамматики”, т.е. внешне напоминает переводные западноевропейские образцы, но содержит и ряд специфически русских мотивов, особенно это заметно, когда автор описывает историю отечественного языка. Книга открывается сообщением о том, что она содержит, с перечня глав: “Правила всеобщей грамматики, изъясняя употребление российского слова, приводит к познанию его состава, свойства и силы. Рассудительные о сем исследования открывают постепенную связь предметов, которая содержит в себе:

- I. Грамматический разбор частей речи и смысла выражений.
- II. Окончания производных слов с их знаменованием.
- III. Сложение слов с изъяснением означения сложных.
- IV. Произведение слов, находящихся в речи, для примера взятой, и употребление тех же слов в других выражениях.
- V. Связь и определение понятий для составления мысли.
- VI. Определение и связь мыслей.
- VII. Порядок слов и звуки в выражениях.
- VIII. Древности языка славено-русского и отношения его к другим языкам.
- IX. Начальное руководство к ясному понятию чужих и сообщению своих мыслей” (С. 3).

Интересно рассмотреть некоторые грамматические “миниатюры” И.Ф. Тимковского. В них немало современных нам понятий, а объяснение и обоснование часто свидетельствуют о том, что корнеслов современной грамматической мысли не претерпел значительных изменений, только “оброс” новыми книжными терминами.

Так, в первой главе автор начинает грамматический разбор следующим образом: “Показание начала слов, выражение составляющих, и какие они суть части речи” (С. 9). Вот как он определяет “грамматический смысл выражения”:

“1. Делается начальное изъяснение о подлежащем и сказуемом, с краткими примерами.

2. Указывается коренное в речи слово, яко подлежащее, и коренной глагол, содержащий сказуемое.

3. Означаются слова, зависящие от подлежащего и от глагола и управляемые ими, с изъяснением сих управлений.

4. При каждом таком слове делается вопрос: довольно ли было бы для смысла, есть ли бы сего слова не было в речи? (...)” (С. 10).

По мнению ученого, “предварительный разбор грамматического смысла облегчает познание о свойствах частей речи, находящихся в выражении, и должен купно истребить недоумения при словах, которые из одинаковых букв состоят, но разные имеют знаменования” (Там же). И.Ф. Тимковский отмечает известные “грамматические свойства” частей речи: род, число, падеж, степени сравнения, залог, спряжение, наклонение, время, число, лицо и род глаголов и др., а также различает “однократное, учащающееся и неопределенное знаменование глаголов” (С. 9), что в то время было камнем преткновения в разработке теории видов русского глагола, и делает это раньше А.В. Болдырева (см. подробнее: Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове): Учеб. пособие для вузов. М., 1986. С. 393).

Любопытны наблюдения ученого над “окончаниями”, т.е. словообразовательными суффиксами производных слов (глава II). Он отмечает и наиболее перспективные модели, и указывает на искусственные, предостерегая от чрезмерного увлечения в изобретении новых слов. Показателен такой пример: “Окончания имен женского рода, производные от прилагательных, на *есть, исть, ость, ливость, тельность* и от причастия *мый* на *мость*, означающие пребывающее качество, способность либо производить от себя, либо принимать на себя действие. Удобство словопроизведения на *ость* и *мость* великую приносит пользу в изобретении слов по предметам наук, искусств и общего употребления; однако служит нередко поводом к излишнему и неправильному принятию таких слов, наприм[ер]: *полезность, бесподобность, ходячесть*, которые не только употреблением запрещаются, и лучше словам других окончаний или иными оборотами речи заменены быть могут, но иные и самому смыслу коренных своих существительных или прилагательных и простых или с предлогами сложных глаголов противны являются. И для того великой требуется осторожности в сем словопроизведении” (С. 17).

Кстати, именно на перспективность словопроизводства с отвлеченными суффиксами обратил внимание в свое время академик В.В. Виноградов, ссылаясь при этом на опыт И.Ф. Тимковского и как бы продолжая его мысль: «Семантика имен на *-ость* во многом зависит от того, употребляются ли они “абсолютно” или в сочетании с роди-

тельным падежом существительного, качество и внутреннее свойство которого они выражают (например, *решительность* и *решительность отказа*; *сухость* и *сухость почвы* и т.п.)» (Виноградов В.В. Указ. соч. С. 113).

И.Ф. Тимковский дает характеристику свойствам частей речи. Например, он различает однократные глаголы (глава III), “которые имеют особые свои учащательные, и которые взаимно с ними друг друга дополняют, как то: *быть, бывать, идти, ходить, весть, водить, несть, носить*” (С. 20).

Как уже было замечено, особое внимание уделяется синтаксису, или, как пишет автор, “связи и определению понятий для составления мысли”. И это не случайно: грамматические опыты начала XIX века еще находились под сильным влиянием философии языка, которая немыслима без *логического* анализа; он часто не был системен, и носил абстрактный характер. Здесь важное место занимают смысловые отношения слов, “связи мыслей”. Таковы во многом труды И. Рижского, Н. Язвицкого, Л. Якоба, опубликованные почти одновременно с учебником И.Ф. Тимковского. Разбирая книгу последнего, акад. В.В. Виноградов замечает: “Так в изложение системы русского синтаксиса все глубже и глубже проникают логические понятия, связанные с учением о суждении-предложении и о членах предложения, и занимают здесь центральное, исключительное положение” (Виноградов В.В. Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова). М., 1958. С. 128).

В V главе И.Ф. Тимковский так определяет главные члены предложения: “Мысль, содержа в себе положение или отрицание, требование, вопрос или восклицание, составляет из связи подлежащего и сказуемого.

а) Подлежащим может быть всякая часть речи, которая *н а и м е н о в а н а* или возвана, став предметом выражаемой мысли.

б) В сказуемом должен быть глагол, изображающий бытие, состояние или действие подлежащего либо отрицание бытия, состояния или действия его. Глагол соединяет с подлежащим и другие части речи, в сказуемом поставляемые.

с) Всякое подлежащее требует сказуемого и всякое сказуемое требует подлежащего” (С. 27).

Стоит, однако, заметить, что изначальные грамматические установки И.Ф. Тимковского, во многом опережавшие его время, все же испытывали на себе некоторую непоследовательность, идущую, как можно предполагать, от неразработанности самих *научных* основ ряда принципиальных вопросов языкознания, особенно грамматики. Возвращаясь к только что процитированному фрагменту (о подлежащем), мы обратили внимание на примеры, приводимые автором в качестве иллюстрации выдвинутого тезиса. Он предлагает следующую “градацию” подлежащих по “семантическому” признаку:

1. Земля, вода, воздух, теплота, жизнь.
2. Пространство, вид, место, движение, время.
3. Вес, число, мера, член, часть.
4. Песок, камень, металл, ископаемые.
5. Трава, роза, дуб, лес, растение.
6. Пчела, орел, кит, лев, зверь, человек, животные” (С. 69).

Но тут же помещает и такие части речи, ставшие, по его мнению, “предметом выражаемой мысли”, как:

13. Твердь, жидок, свет, бел, скор.
14. Доброй, строгой, искусный, славный.
15. Двадесятый, я, оный, (...) творящий.

16. Вчера, до но, ах!” (С. 70). Многие из них с современной точки зрения назвать подлежащими нельзя.

Подобное наблюдается и далее, когда он говорит о функциях сказуемого и определяет его роль. В общем-то можно согласиться с его тезисом (см. выше) о том, что сказуемое выражено глаголом. И даже более: он говорит о категориях модальности, как бы расширяя потенциал сказуемого. Ученый приводит следующие примеры:

1. Есмь, бывал, будут.
2. Возмужал, побелеет, умри.
3. Кричал, позову, продолжится, убойтесь.
4. Не бываю, не познавали, не устрашимся, не надейтесь” (С. 70).

Но когда он пытается осмыслить структуру сложного сказуемого (простого и составного), то здесь получается значительный разнобой, идущий вразрез не только с нынешним представлением, но и, как нам кажется, со взглядами самого автора. При этом как положительный факт необходимо отметить, что ученый не просто “разлагает” основу предложения на части и характеризует их свойства, но проникает глубже, в саму *систему понятий* синтаксиса, идет своим, опытным путем. Так, он пишет о том, что “сказуемое может быть или одинаковое, одним глаголом выражаемое, (...) или совокупное, состоящее из прибавления к глаголу других глаголов или иных частей речи, которыми он определяется. Бывают в сказуемом и целые мысли, которые имеют свое вторичное подлежащее и сказуемое” (С. 29–30). Иллюстрации же, приводимые И.Ф. Тимковским в этой части, весьма разнообразны:

“*Милость и суд воспою* (здесь и далее курсив автора. – О.Н.) тебе, Господи (Пс[алтырь])” (С. 76). “Я, – пишет он, – подлежащее (которое подразумевается) – О.Н.), прочее сказуемое” (Там же).

“Все полководцы утверждают,

Что хитростью подчас и силу побеждают;

А это точно так. Хем[ницер]” (С. 77). В этом фрагменте автор так распределяет роли между главными членами предложения: “Все полководцы, – говорит он, – подлежащее, *утверждают, что* – сказ[уе-

мое]”. О второй строке стиха: “Все или многие – подлежа[щее]”. *Хитростью подчас силу побеждают* – сказ[уемое]”. О третьей: “Это – подлежа[щее]. *Есть точно так:* сказ[уемое]”.

Во многом интересны рассуждения И.Ф. Тимковского, касающиеся “порядка слов и звуков в выражениях” (глава VII). Основное правило, по его мнению, состоит в следующем: “Слова должны быть поставлены в таком порядке, чтоб мысли ясно и точно другим сообщались” (С. 37). Он различает два способа построения порядка слов: “произвольный” и “риторский, или стихотворческий” (Там же). Опять логическая оценка сопровождается грамматическими “догадками” автора. Он поясняет: “Необходимость требует: 1) чтобы вначале известно было подлежащее, для ясности сказуемого, потом состояние или действие подлежащего, глаголом означаемое, и потом предметы действия (...)”.

Произволение переменяет порядок 1) иногда без всякой надобности по собственному благоугождению, 2) для стройнейшего соотношения частей и удобнейшего сообщения силы выражений, 3) для лучшего выговора и пристойнейшего звука. Сия свобода русского языка есть весьма важное преимущество его в силе и звуках и великую пользу, подобно древним языкам, доставляет в витийстве и поэзии. Впрочем, – заключает И.Ф. Тимковский, – она по всей возможности должна соотноситься с порядком необходимым” (С. 38–39).

Один из исследователей отечественного языкознания, проф. С.К. Булич, создавший фундаментальный труд по историографии лингвистики, до сих пор не утративший своего значения, довольно скептически и, как нам кажется, не совсем справедливо оценивает заслуги И.Ф. Тимковского в грамматической части, хотя и признает, что в начале XIX века “попытка основать изложение русской грамматики на данных всеобщей грамматики (...) была у нас новостью” (Булич С.К. Очерк истории языкознания в России. Т. I. (XIII в. – 1825 г.). СПб., 1904. С. 559). Далее он же пишет, что «книга эта в общем имеет странный характер, представляя собой род неудобочитаемого конспекта или подробной программы предлагаемого автором “опытного способа к философическому познанию” русского языка» (Там же. С. 559). С.К. Булич полагает, что учебник И.Ф. Тимковского имел «мало связи со всеобщей и философской грамматикой (...)». В конспекте этом только намечались известные определенные грамматические схемы, на которые обращал внимание, вероятно, сам автор при разборе образцов языка на своих чтениях в Харьковском университете. (...) Таким образом, по отношению к общему языкознанию книга Тимковского не представляет интереса, несмотря на эпитет “философические”, помещенный в заглавие ее» (С. 561).

То же выразил и М.Г. Булахов, полагаясь на мнение своего предшественника: “Несмотря на многообещающее название книги [Стоит

заметить, что, по словам того же С.К. Булича, «первоначально книга Тимковского, по-видимому, имела *другое* (курсив наш. – О.Н.) заглавие. По крайней мере в перечне книг, одобренных в Харькове к напечатанию в 1810 г. (...) значится труд проф. Тимковского: “О грамматическом разборе слов российского языка”»], автору не удалось представить грамматический строй русского языка в строгой системе и последовательном изложении. Большая часть фактов осталась без глубокого лингвистического анализа” (Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды: Биобиблиографический словарь. Т. I. Мн., 1976. С. 244). Более объективно выглядит оценка В.В. Виноградова: “Книга проф. И. Тимковского привлекала внимание к фактам языка, к речевому опыту. Она содержала не только сведения по логической грамматике, но и свежий материал по русскому языку” (Виноградов В.В. Из истории изучения русского синтаксиса... С. 128–129). Очевидно, В.В. Виноградов имел в виду не только разнообразные, удачно подобранные примеры, но и структуру книги, по-новому представившую сам предмет русского языка, где теория и история являются звеньями общей цепи “лингвистического организма”. Последняя как раз только в начале XIX столетия получила импульс в своем развитии.

Поэтому на фоне интереса к “всеобщей грамматике” весьма оригинальны и познавательны рассуждения И.Ф. Тимковского в другой области. Ученый одним из первых говорил об этапах развития русского языка, его “древностях” и связи с другими языками, опираясь при этом уже не на западную традицию, а на те еще малочисленные попытки научного изучения проблемы, которые под влиянием Н.М. Карамзина, А.С. Шишкова и позднее А.Х. Востокова обретут целенаправленное русло. Этому посвящена отдельная глава (VIII) “Опытного способа...”, разнящаяся с тем, что представлено в других книгах. И хотя рассуждения И.Ф. Тимковского очень отрывочны, и их нельзя назвать состоятельными (с точки зрения современной науки), все же они содержат начатки сравнительно-исторического изучения отечественного языка и весьма оригинальны по форме, потому и заслуживают нашего внимания. “Язык, – пишет ученый, – есть одно из племенных отличий всякого народа. В свойстве и переменах того и другого действующие причины так совокупны, что история народа содержит в себе и историю языка его” (С. 43). Вот как определяет Тимковский место родного языка в кругу других: “В глубочайшей древности языка славенского обретается некоторое сходство его с ученым, народу неведомым языком в Индии, самскрет, или самскрыт, которым одни брамины говорят и пишут. Большее сходство явствует с кельтским, а потому и с языками ближайших народов кельтского поколения. Судя же по произведению славян, как и однородных им венетов, или вендов, от сарматов, или савро-мидов, корнем языка их мидский принимаем” (Там же). Можно согласиться с мнением Ф.М. Бере-

зина, что “автор впервые в русском языкознании говорит о тесной связи истории языка и истории народа” (Березин Ф.М. История лингвистических учений: Учебник для филол. спец. вузов. М., 1984. С. 32). Обоснованно выглядят (теперь уже с точки зрения современных этимологических исследований) взгляды И.Ф. Тимковского и на родство славянского языка с санскритом и кельтскими языками, на различие русского и старославянского языков и др.

Существенным представляется схема эволюции письменно-литературного языка, в которой И.Ф. Тимковский выделяет пять периодов (заметим, что это одна из первых научных классификаций исторического развития русского языка по его памятникам):

“а. *К первому* (здесь и далее курсив наш. – О.Н.) относятся начальные переводы книг церковных и составляют древнейшие памятники в словесности. (...) Правда, первые оных книг переводы не таковы были, как теперь их имеем, но по векам несколько переменены в словах, как то судить можем и по дошедшим до нас старинных тех книг рукописям и печатным изданиям. Приметны вышедшие в них при самом переводе многие выражения по свойству восточных и греческого языков.

б. *Ко второму* 1) Русская правда (...) 2) Повести временных лет (...) 3) Слово о полку Игореве (...) 4) Поучение или духовная, Владимира Мономаху детям.

в. *К третьему* 1) продолжатели Несторовой летописи (...) Симон Суздальский, Иоанн Новгородский и другие, полагаемые в XIII и трех следующих веках. 2) Договорные и другие грамоты князей с XIII века (...) 3) Судебник царя Ивана Васильевича. 4) Уложение царя Алексея Михайловича. 5) Приказные и другие сочинения тех времен.

г. *Четвертый* период составляют последняя половина XVII века и начало XVIII. Сюда принадлежат: 1) Уставы, указы и слог судебных дел. 2) Разные богословские, философские, риторские и пиитические сочинения духовных, как то особенно Симеона Полоцкого и Феофана Прокоповича... 4) Другие к наукам относящиеся сочинения и переводы. 5) Избранные исторические и другие народные песни того времени.

д) *Пятый* период поставляет Третьяковского, Ломоносова, Сумарокова основателями нынешнего чистого слога, филологией и критикою обработанного” (С. 48–49).

И.Ф. Тимковский подмечает и такие свойства родного (“славянского”) языка, как незамкнутость, открытость, способствовавшие его распространению на большой территории. “Рассуждая все изменения русского языка по месту и времени, видим, – пишет ученый, – что он при всех приращениях и изворотах не только удержал силу славянского (языка. – О.Н.) в существе и высшем употреблении своем; но и тем племенам в сем виде сообщился, которые с славянами смешались” (С. 50). Автор подчеркивает и тот факт, что языки “славянский” и рус-

ский суть одного происхождения, но, “кроме введения чужих слов”, имеют ряд существенных отличий друг от друга:

“а. В выговоре букв, а паче гласных, и в ударении.

б. В прибавке или выпущении некоторых букв и слогов и в грамматических переменах слов; <...> Наприм[ер]: *град, город; древа, древеса, дерева, деревья; нощю, ночью; князя, князья; врази, враги; чтю, читаю* <...> (здесь и далее курсив наш. – О.Н.).

в. В произведении, сложении и значении слов. Многие слова прежние оставлены, новые окончания в словопроизведении приняты, иных слов значение переменялось.

г. В словосопряжении и управлении, напр[имер]: *солнце сияет свет мой; радоватися о Господе; идущим им, очистишася; оже ся буду где описал.*

д. В слоге. Речь возвышенная, а наипаче письменный высокий слог придерживаются более слов, словопроизведения, словосопряжения и выговора славенского, не удаляясь впрочем к обветшалому употреблению. Речь и письмо простые следуют общенародному изяществу своего времени” (Там же).

И.Ф. Тимковский определяет в составе русского языка разные пласты лексики: заимствования, устаревшие слова и др., причем первые распределяет на “слова татарские”, к которым он относит *алтын, аршин, баран, барыш, лошадь, кушак, хозяин, шалаш* (С. 51, 269); “слова обыкновенные греческие и латинские”; “слова, взятые из нынешних европейских языков”; “слова еврейские и греческие, принятые церковью”, такие, как *Апокалипсис, Апостол, епископ, Иоанн* и др. (С. 51, 270); “слова иностранные, которых употребление определено правительством”, например: *адмирал, академия, ассигнация, экспедиция, империя, офицер, генерал, герб* и др. (Там же). Интересен представленный ученым подбор “древних российских слов”, вышедших из употребления или получивших другое “знаменование”. Это – *головник* (убийца), *губный* (уголовный), *куна, резань* (деньги), *продажа* (штрафная пошлина и понаровка виноватому), *комонь* (конь), *роко-тать* и некоторые другие (С. 269).

В целом построение книги напоминает современные учебники, имеющие, как правило, часть теоретическую и часть практическую. У Тимковского значительно больший объем (С. 55–310) занимают примеры (некоторые из них мы привели выше). Это не упражнения в принятом понимании, а иллюстрации к указанным в первой части тезисам, причем взятые из довольно разнородных источников, например, из книг Ветхого Завета, из исторических исследований (М.М. Щербатов) и памятников (Русская правда, летописи, Слово о полку Игореве), а также из произведений Богдановича, Державина, Дмитриева, Капниста, Карамзина, Кострова, Княжнина, Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова, Хераскова, Хемницера и др.

Оценивая историческую часть книги, С.К. Булич замечает: “Обилие примеров из древних памятников делало руководство Тимковского своего рода исторической хрестоматией, которая, вероятно, давала материал для подробного анализа текстов на лекциях автора в Харьковском университете. Во всяком случае, ни у одного из предшественников или современников Тимковского не замечалось такой определенной склонности к историческому пониманию и представлению грамматики русского языка, позволяющей считать его в известном смысле предшественником наших историков языка: Срезневского, Буслаева, Колосова, Соболевского, Шахматова и др.” (Булич С.К. Указ. соч. С. 1009–1010).

“Опытный способ...” И.Ф. Тимковского был практически забыт в начале XX столетия и почти не анализировался в современной науке. Разумеется, те немногие отклики на этот труд, предназначенный для *практических* целей, свидетельствуют о зарождающемся системном понимании задач языкознания и, в частности, грамматики на рубеже XVIII и XIX веков. Это на год позже определил другой известный лингвист Л.Г. Якоб в своем “Курсе философии для гимназий Российской империи” (СПб., 1812). Но все же опыт И.Ф. Тимковского для того времени имел большое значение в преподавании русского языка, ибо был основан не на схоластических приемах, а имел под собой реальные факты языка, живые, эмоциональные, способствовавшие развитию интереса к родной словесности и интуиции личности ученика. В научной части он позволил “не только раскрывать связи грамматики с логикой, но хотя бы и вскользь подчеркивать различие их целей и задач” (Виноградов В.В. Из истории изучения русского синтаксиса... С. 129).

О.В. Никитин



Сокращенные названия документов

А. Н. КАЧАЛКИН,
доктор филологических наук

В деловых текстах нередко встречаются сокращенные названия полных имен документов, но отражающие их тематическую разновидность. Это (по степени снижения употребительности): *Купчая, Данная, Закладная, Менная и Меновая, Отпускная, Дельная, Вкладная, Посильная, Духовная, Отданная, Деловая, Разъезжая, Поступная, Отводная, Порядная* и другие подобные.

Бывает, что сокращенные названия имеют при себе прилагательное-определение. Таковы, например, *Ободная межевая* (1391 г.), *Вкладная данная* (1616 г.), *Разговорная челобитная* (1568 г.), *Изветная челобитная* (1626 г.), *Дерная купчая* (1664 г.), *Явочная челобитная* (1670 г.), *Мирская посылная* (1677 г.), *Изветная челобитная* (1711 г.)

В других случаях один документ имеет два сокращенных названия, различных и вместе с тем близких по тематическому содержанию. Такие названия соединены союзом *и*, например: *Закладная и Купчая* (1510 г.), *Докладная и Купчая* (1550 г.), *Закладная и Купчая и Дерная* (1557 г.), *Разъезжая и Отдельная и Межевая* (1567 г.), *Поступная и Данная* (1675 г.), *Купчая и Отводная* (1576 г.), *Отступная и Купчая* (1576 г.), *Отступная и Отводная* (1577 г.), *Вкладная и Положенная* (1579 г.), *Отдельная и Отмерная* (1595 г.), *Закладная и Променная* (1685 г.), *Заемная и Закладная* (1698 г.).

Более подробно рассмотрим случаи, когда в названии документа употребляются то прилагательное в сочетании с существительным, то самостоятельное прилагательное. Один и тот же документ может называться *Закладная кабала* и рядом просто *Закладная*: "...а будет крестьяне по тем закладным кабалам тех сеннех покосов не выкупят, и вы б теми закладными санными покосы по закладным велели владеть до выкупу... игумену Феодосию з братьею" (1649 г.). *Меновная крепость и Меновная*: "...тою моею вотчиною, двема третми Воздвиженскими и четырма пустоши, которые в сей меновой имяны писаны, владети со всеми угодыми (...) А меновную крепость писал Покровской церковной дьячек князя Федора Федоровича Шелешпальского Автоманко Михайлов сын..." (1582 г.). *Прикладная крепость и Прикладная*: "Прикладную крепость писал Ферапонтко Мстиславцев (...) К сей прикладной поп Игнетий, вместо дочери своей духовной

Анны Шебалиной, по ея велению, руку приложил” (1696 г.). *Отводная роспись и Отводная*: “...отводщик слуга Иван Сибиряк отвел Карзинскую деревню от старца Антония Солзенина за старца Прокла всю налицо... И в том и две отводные розписи написали: отводная отцу игумену Иоасафу еже о Христе з братьею в монастырь, а другая новому старцу приказному Проклу... К сей отводной вместо нового приказчика старца Прокла, по его велению, лесестровец Диомидко Аверкиев руку приложил” (1690). *Отпускная память и Отпускная* в Жилецкой записи: “...он Иван отпустил на свободу поместных бобылей своих, отца моево Левонтья, да дядю моево роднова Мирона адевых детей, да меня Мокейку и отпускную память нам дал, и та наша отпускная во Пскове в приказе в поместном столе в книги записана и отдана отцу моему да дяде” (1625 г.).

Часто встречаются и другие случаи употребления в одном и том же документе полного и сокращенного самоназвания, когда в качестве сокращенной части выступает прилагательное, называющее тему документа, а иногда способ составления документа (жанры расположены по степени убывания частотности): *Изустная память и Изустная* (1575 г.), *Меновная память и Меновная* (1582 г.), *Вкладная память и Вкладная* (1597–98 гг.), *Заседная память и Заседная* (1650 г.), *Отпускная память и Отпускная* (1653 г.), *Кормовая память и Кормовая* (1656 г.), *Купчая память и Купчая* (1659 г.), *Мировая память и Мировая* (1680 г.), *Данная память и Данная* (1681 г.), *Менная память и Менная* (1694 г.); *Вкладная Запись и Вкладная* (1542 г.) *Отводная запись и Отводная* (1545–46 гг.), *Дельная запись и Дельная* (1555 г.), *Деловая запись и Деловая* (1562 г.), *Меновная запись и Меновная* (1612 г.), *Купчая запись и Купчая* (1612 г.), *Закладная запись и Закладная* (1648 г.), *Захребетная запись и Захребетная* (1656 г.); *Меновная грамота и Меновная* (1526–27 гг.), *Вкладная грамота и Вкладная* (1541 г.), *Дельная грамота и Дельная* (1553 г.) *Духовная грамота и Духовная* (1614 г.), *Данная грамота и Данная* (1619–20 гг.); *Отводной список и Отводной* (1624 г.), *Опросный список и Опросный* (1628 г.); *Вкладная выпись и Вкладная* (1648 г.), *Напойная роспись и Напойная* (1634 г.).

Прилагательные, перешедшие в разряд существительных и выступающие в качестве названий документов, не представляют собой самостоятельных жанров с присущими им свойствами, а являются разновидностями *Грамот, Памятей, Записей, Книг, Росписей, Кабал* и других подобных типов документов. Возникает это явление по разным причинам.

Одна из причин заключается в том, что предметная часть названия настолько устойчиво употребляется с определенным жанром, что нет необходимости этот жанр называть. Так, субстантивированное прилагательное (т.е. прилагательное, перешедшее в разряд существитель-

ных) *Беглая*, употребленное в памятнике в “чистом” виде, вне названия жанра может быть сокращенной заменой названия только *Беглой грамоты*, ибо в сочетании с названиями других жанров слово *Беглая* в памятниках не встретилось. Точно так же только в сочетании с именем *Грамота* встречаются *Ввозная*, *Взметная*, *Вольная*, *Дерная*, *Доправная*, *Купленная*, *Купная*, *Несудимая*, *Подменная*, *Полетная*, *Полномочная* – каждое из них встречается и как самостоятельное название отдельного документа.

Только *Памятью* могут быть документы с сокращенными названиями *Доезжая*, *Кормежная*, *Новоставленная*, *Новоявленная*, *Осмотренная*, *Почеревная*, *Приемная*. Только *Записями* могут быть *Излюбленная*, *Отдавчая*, *Покрутная*, *Промежная*, *Сданная*, *Снимочная*. Только жанр *Сказки* может передавать сокращенное название *Отсрочная*, только жанр *Выписи* – *Правежная*; только *Книги* могут называть сокращенные имена документа *Лавочная* и *Отъявочная*.

В приведенных случаях интересующие нас прилагательные употребляются лишь в сочетании с определенным жанром. Однако возможны реконструкции и иного рода. Рассмотрим, например, документ, называющий себя *Уплатная*: “...устюжане посадцкие люди михайло семенов сын медведев да яз спиридон иванов проскуряков взяли мы у архиереиского приказного игнатя лукина по кирпичной записе два рубли денег в уплату в том мы михайло с товарищем и уплатную дали уплатную писал по их велению архиереиской площадной подячей афонка петров воробев” (1684 г.)

Реконструировать жанр *Записи* можно при помощи источника этого документа, упоминаемого в записи – *Кирпичная*.

Другой причиной появления сокращенных названий являются случаи, когда сам текст достаточно безразличен к жанру. Сокращенное название *Вкладная* может обозначать и *Крепость*, и *Кабалу*, и *Запись*; прилагательное *Деловая*, может обозначать *Роспись* и *Список*, так же, как прилагательные *Высылная*, *Докладная*, *Межевая*, *Мерная*, *Отводная* и некоторые другие.

Третья причина употребления сокращенных названий вызвана тем, что автор документа затрудняется отнести его к определенному жанру.

Не исключено, что нам пока просто неизвестны памятники, где эти прилагательные встретились бы в сочетании с названием определенного жанра. Пока же полагаем, что сокращенные тематические названия документов не образуют самостоятельного жанра со специфическими свойствами, реализованными в тексте определенной структуры (исключение составляет, пожалуй, лишь *Челобитная*). Любой тематический организованный текст принадлежит определенному жанру, подчиняется его композиционным и стилистическим нормам, а в составе названия в качестве базового слова имеет имя существительное.

ПРОВОКАТОРЫ И ПРОВОКАЦИИ В ЖИЗНИ И СЛОВАРЯХ

А. Л. ГОЛОВАНЕВСКИЙ,
доктор филологических наук

В 70-е годы XIX века в связи с активизацией революционного движения в России и переходом народнических организаций к тактике индивидуального террора как одной из главных форм борьбы с правительством, властью была разработана и широко распространена система провокаций.

До этого времени в русском языке не существовало специальных названий ни для обозначения деятельности, понимаемой как провокация, ни для лиц, занимающихся этой деятельностью. Слова *провокация* и *провокатор* в привычных нам значениях не отражаются в толковых словарях. В “Новом словотолкователе” Н. Яновского (1803–1806 гг.) *провокатор* – “одно из названий гладиаторов, вооруженных разным оружием, противников гипломахов”. Слово *провокация* в русский язык проникло в Петровскую эпоху (См. Н.А. Смирнов. “Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык в эпоху Петра Великого”) в значении “вызывание”. И это значение (“вызов на поединок”) фиксируется рядом русских словарей второй половины XIX – начала XX веков.

В революционной среде с 70-х годов XIX века идут поиски названия для обозначения понятия “провокатор” из синонимического ряда: *шпион*, *агент*, *agent-provokateur*. Мнение о том, что современное значение слова *провокатор* сформировалось в среде революционеров уже в 70-е годы (Грановская Л.М. Развитие лексики русского литературного языка в 70-е годы XIX – начала XX вв. (1917) // Лексика русского литературного языка XIX – начала XX вв. М., 1981) нашими наблюдениями не подтверждается. Мало того, в основных документах “Народной воли” конца 70-х – начала 80-х годов XIX века вообще слово *провокатор* не употребляется. Первая фиксация его нового значения отмечена в третьем издании Словаря В.И. Даля под редакцией А.И. Бодуэна де Куртенэ и в дальнейшем указывается многими словарями начала XX века.

Первой номинацией нового понятия в 70–80-е годы XIX века было слово *шпион*. Оно использовалось в программах Исполнительного комитета (ИК) “Народной воли”, в судебных выступлениях, в мемуарной литературе народолюбцев и в других источниках: “От Евгения получите список парижских (русских) шпионов, из которых некото-

рые, кажется, даже знакомы с вами” (письмо ИК “Народной воли” П.Л. Лаврову // Революционное народничество 70-х гг. XIX в. М., 1964. Т. 2); “В тех же летних совещаниях 1880 года участвовал, по словам Рысакова, рабочий Яков Смирнов, который впоследствии прослыл за шпиона” (Из заключения прокурора по делу о 85 лицах... Там же).

Название *шпион* в некоторых материалах употребляется параллельно с *agent-provokateur*, промежуточным между *шпион* и *provokator*. *Agent-provokateur* – одно из многочисленных иноязычных вкраплений в литературе революционного народничества. Не склонные к употреблению иноязычных выражений революционные публицисты не отказываются в данном случае от одного из таких, по-видимому, оттого, что слово *provokator* в русском языке было неупотребительным: «Исполнительный комитет доводит до сведения публики, что редактор “Петербургской газеты” Баталин, еще в 71 г. состоявший на службе у Колышкина и участвовавший как *agent-provokateur* в нечаевском процессе, получает и в настоящее время жалованье от III отделения. Просим остерегаться шпиона» (Революционная журналистика 70-х годов. 1905). В Календаре Народной воли 1883 года характеристика провокатора, издававшего в Женеве газету на русском языке с целью компрометации русской революционной печати, заканчивалась словами: «Человека, посвятившего себя подобной деятельности, обыкновенно характеризуют эпитетом “*agent-provokateur*”» (Богучарский В.Я. Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х годах XIX в. М., 1912).

Итак, употребление в русском языке слова *provokator* связано с распадом французского сложения *agent-provokateur* на два самостоятельных слова с синонимичным значением.

В словарях конца XIX – начала XX веков одновременно употребляются такие названия для современного понятия “provokator”: *Агент* – 1) подстрекатель, агент тайной полиции, занимающийся провокацией...; 2) полицейский в штатском платье; служащий тайной полиции. *Agent-provokateur* – агент тайной полиции, втирающийся в доверие к политическим преступникам. *Агент-подстрекатель-agent-provokateur*. *Агент-provokator* “вызыватель, подстрекатель, вызывающий заподозренных лиц на незаконные поступки, подводя под наказание. Организатор политического противоправительственного предприятия с целью выдать его с корыстной целью этому правительству” (См.: Голованевский А.Л. Идеологически-оценочный словарь русского языка XIX – начала XX вв. Брянск, 1995).

Когда А.И. Бодуэн де Куртенэ работал над третьим изданием Словаря В.И. Даля, слово *provokator* в качестве самостоятельного не фиксировалось ни в одном словаре, но его значение к тому времени сформировалось в рассмотренном синонимическом ряду. Поэтому ре-

дактору оставалось придать известному (не только в революционной среде) понятию русскую форму и огласовку, закрепив за ним значение: “Вызыватель, возбудитель, науськиватель, кто умышленно возбуждает толпу и вообще народ с целью вызвать возмущения и беспорядки” (СПб., 1903–1909. т. III). Третье издание словаря Даля выходило в период русской революции, потому на первый план вышло (актуализировалось) значение, отмеченное Бодуэном де Куртенэ. В других словарях этого периода указывается и более узкое значение, сложившееся непосредственно в революционной среде: “Лицо, под видом члена, втирающееся в тайную организацию, чтобы предать ее властям” (Голованевский А.Л. Указ. соч.). Данное значение отражено в “Новом карманном словаре иностранных слов” Д.Т. Майданова и Н.И. Рыбакова (1907 г.) как периферийное, под номером “4” (под номером “1” указывается значение, близкое к дефиниции Бодуэна де Куртенэ). В Словаре современного русского литературного языка (БАС) первым значением в слове *провокатор* указывается: “Тайный агент, проникающий в нелегальную организацию с предательскими целями. 2. Лицо, провоцирующее ч.-л.; подстрекатель” (БАС. Т. II).

В литературе революционного народничества отмечены случаи употребления с новым значением слова *провокация* и его производных: “Делами стал руководить Дегаев, а вместе с тем вошла в жизнь и неведомая до тех пор, созданная Судейкиным система провокации. Характерно, что к тому же подбивает нас и полицейское провокаторство” (Литература партии “Народная воля”).

Итак, в революционной народнической среде понятия “провокация” и “провокатор” еще не выделились из понятийного круга, обозначаемого словами *шпион*, *шпионство*. В начале 80-х годов XIX века в слове *провокация* актуализируется новое значение “подстрекательство”. Лицо, занимающееся подстрекательством, обозначается и в революционной среде и в официальном юридическом языке еще неосвоенным заимствованием *agent-provokateur*. Слово *агент* в значении “лицо, действующее в чью-либо пользу, явно или тайно” (Полный словарь иностранных слов, вошедших в русский язык. СПб., 1861), совмещает в себе и семантику второй части – *провокатор*, поэтому слова легко распались на самостоятельные. Лексема *провокатор* вошла в один семантико-словообразовательный ряд со словами *провокаторство*, *провокатура*, появившимися в русском языке в результате актуализации в конце XIX – начале XX веков общественно-политического понятия “провокация”, и тогда же словари фиксируют современные значения этих слов.

Из истории политического лексикона XX века

Русь, Россия, СССР
в эмигрантской публицистике

А. В. ЗЕЛЕНИН,
кандидат филологических наук

Русь – Россия – СССР... В этом смысловом треугольнике вращалась мысль эмигрантов, то воскрешая славное прошлое своей утраченной Родины (*Русь*), то отсылая к предбеженскому периоду и наполняя сердце тоской (*Россия*), то навевая чувства безнадежности и уныния (*СССР*). Последнее, пожалуй, хорошо иллюстрируют слова М. Цветаевой: “Была бы я в России, все было бы иначе, но России (звука) нет, есть буквы: СССР, не могу же я ехать в глухое, без гласных, в свистящую гущу” (Что в имени твоём?..). Какие ассоциации и представления возникали в сознании эмигрантов первой и второй “волны” при произнесении и написании имени (“звука”) *Россия* – в отличие от “безгласного” (“свистящей гущи букв”) *СССР*?

Особое положение имени собственного в языке диктуется тем, что его номинативные возможности сосредоточиваются на обозначении единичной реальности, а не класса предметов. Поэтому имя собственное не имеет значения, но имеет смысл. В силу этого имя собственное нарекает, именуется, оно естественно соотносится всегда с одним предметом (денотатом). На это отличие имен собственных от нарицательных указал еще в конце XIX века Н.В. Крушевский (Очерки науки о языке. Казань, 1883); а полвека спустя это доказал польский лингвист

Е. Курилович: имена собственные имеют узкую сферу употребления и обладают “крайне богатым лингвистическим содержанием” (Очерки по лингвистике. М., 1962). Немецкий философ и логик конца XIX века Г. Фреге в статье “Смысл и денотат” (1898 г.) дал точную характеристику смысла имени собственного: это “способ представления денотата в знаке”.

Имени *Русь* всегда везло на внимание этимологов (только за последние годы опубликовано более десятка статей), так как оно является не просто географическим наименованием (топонимом), а выполняет в русском языке и культуре важную прагматическую и идеологическую роль. Оно не могло остаться в стороне от “ономастической революции” после 1917 года, когда многие прежние (дореволюционные) названия в советском языке оказались замененными новыми и оттесненными на периферию общественного сознания. До революции 1917 года *Русь* употреблялось в составе исторических терминов *Киевская Русь*, *Белая Русь*, *Московская Русь*, *патриарх Московский и всея Руси* (сан восстановлен 5 [18] ноября 1918 г.), или в риторическом и поэтическом стиле (поэзии, фразеологии, поговорах).

Эмигрантский “круг жизни” не только не умертвил смысловые ассоциации, присущие имени *Русь* в дореволюционное время, но, пожалуй, еще больше активизировал их. В эмигрантских изданиях “первой и второй волны” (1918–1930-е годы) можно выделить несколько “пластов” смысла имени собственного *Русь*.

Терминологическое использование имени *Русь* как второго слова в составных наименованиях нам не встретилось. Однако этот элемент употребляется в сложных образованиях типа *Великороссия* (*Великоруссия*), *Белоруссия*.

В отличие от советской публицистики термины *великорус* (*великорос* – название распространилось со второй половины XIX века), *белорус*, *малорос* и образованные от них прилагательные *великорусский* (*великоросский*), *малоросский* достаточно часто встречаются на страницах эмигрантских изданий: «Большевики иногда “пугают” теперь народ “возвратом монархии”, но они неизменно воскрешают при этом другие, более страшные, хотя тоже мнимые “пугала”: “крепостное право помещиков”, “кабала фабрикантов”, “угнетение великороссами всех прочих народностей”» (Возрождение. 1937. № 4107. 20 нояб.); “Я убежден, что мы все, т.е. все интеллигентные русские люди, носим в своих жилах такую смесь национальных кровей, что по признаку географического происхождения нам крайне трудно определить себя, – особенно в вопросах малороссийском и великорусском здесь мы очень просто сталкиваемся, когда надо будет, да, вероятно, и столкновиться не надо будет” (Русский голос. 1939. № 415. 19 марта).

В советском языке нормативным стало последовательное устранение несущих негативные ассоциации прилагательных *малый*, *великий*

при обозначении народов или национальностей, государственных образований (Великое княжество Финляндское). “Толковый словарь русского языка” (под ред. Д.Н. Ушакова) обозначения *великорусский, великорусы (великоросы), великороссийский, малороссийский, малорос, малорус, малорусский* снабжает пометами “книжн.(ое) устар. (елое)”, “доревол.(юционное)” с идеологическим уточнением для *великоруса, великорусского* – «название возникло в Московском государстве на почве великодержавной идеологии, объявлявшей русскую народность “великой” в сравнении с украинской и белорусской» и для *малорус, малорусский* – “шовинистическое название украинцев” (Там же. Т. 1, 2).

В эмигрантской прессе появляется даже новое имя – *Прикарпатская Русь*, идеологически несущее важную для эмигрантов функцию: «Третья составная часть покойной чехословацкой республики – несчастная и беззащитная Прикарпатская Русь, переименованная проходимцем “монсиньором” Волошиным в Карпатскую “Украину”, оставлена на милость ближайших соседей» (Русский голос. 1939. № 415. 19 марта).

Помимо употребления *Русь* в составе указанных обозначений, оно участвует в образовании таких словосочетаний, которые позволяют выделить в имени следующие круги смыслов, или устойчивых ассоциативных полей: **круг исторических ассоциаций**, связанных с древним прошлым государства, поэтому часто имя сопровождается эпитетом *святой* – *Святая Русь*; **монархических ассоциаций** – тесно сплетенных в сознании монархически настроенных эмигрантов идеями монархии, а государство без царя, императора – представлялось им как обезглавленное, недееспособное; **круг церковных ассоциаций** с традиционными определениями, сочетающимися с именем *Русь*, – это *православный, христианский*. Использование названия *Русь* в церковных и иных стилистически окрашенных контекстах рождало пафосность и патетичность и приводило к формированию **круга риторических ассоциаций**: “Книга дает яркое изображение нравственного облика Государя Императора Николая Александровича и Императрицы Александры Федоровны, величие Их духа, непоколебимой Их верности идеалам Святой Руси, беспредельной Их любви к Отечеству и к Русскому Народу и Их мученического Крестного пути” (Русский голос. 1939. № 414. 12 марта); “Генерал Дитрих большое значение придает религиозной стороне стоящей перед ним задачи, и здесь, среди казаков, истинных сынов Святой Руси, усвоенный им образ действия находит непосредственный отклик в сердцах” (Призыв. 1919. № 46. 5 [23] сент.).

Тоска по Родине, милым сердцу местам, русскому языку заключена в обозначении *Святая Русь*, объемлющем всё многообразие эмигрантских воспоминаний: “Трудно влиять на такое массовое явление,

как язык, но это особенно затруднительно вне родины, вне воздуха, который сам, по старинному выражению, – Святорусьем пахнет” (Русский голос. 1939. № 413. 5 марта). Впрочем, связь с утраченной Родиной эмигрантами постоянно поддерживается хотя бы за счет перенесения данного наименования на будущую Россию после большевиков, либо на ту Россию, которая оказалась в эмиграции и хранит ее в своих сердцах и традициях. Так рождается новый **круг ассоциаций преемственности имени и государственности**.

В сознании эмигрантов существует четкая связь, соединяющая в цепочку понятия “Русь прежняя” – “продолжение Руси (России) в эмиграции” – “Русь возрожденная, воссозданная”. Имя *Русь* получает расширительное употребление и возрождает старое, древнерусское, когда этим обозначением называли жителей страны: “...Пушкина чествует также американская Русь, путем устройства лекций, докладов и литературно-музыкальных вечеров” (Рассвет. 1937. № 35. 11 февр.) – семантическим механизмом выступает метонимия: название страны переносится на людей. В публицистическом тексте имя *Русь* становится символом, сопряженным с именем *Россия*. Имя *Россия* ассоциировалось с государственно-территориальным устройством, имя *Русь* – с его духовно-национальным и религиозным своеобразием: «“Русская газета”... будет вести всевозможную борьбу против чужеземцев, мечтающих захватить русскую территорию и закабалить или уничтожить Русский народ, что – недопустимо! Мы против раздела России – мы за Свободную, Неделимую Русь» (Русская газета. 1937. № 1).

Таким образом в имени собственном *Русь* в эмигрантской публицистике “первой и второй волны” актуализируются смыслы, обусловленные прежними историческими, культурными ассоциациями, происходит приобретение новых, связанных с эмигрантским “кругом жизни”. В этом – отличие от советского языка, где данное название в 20–30-е годы XX века находилось на языковой и культурной периферии.

Своеобразие использования эмигрантами имени *Русь* – в отличие от советского языка – проступает на семантическом и синтаксическом (сочетаемом) уровнях, определяясь прагматическим фактором. В отличие от дореволюционного дискурса имя *Россия* уже не может обойтись без своих смысловых конкретизаторов – произошла, говоря словами С.И. Карцевского, “партикуляризация” слова; прежде плотная семантическая определенность понятия (“императорская Россия”, “Россия как государство в Европе”) сменилась неустойчивым семантическим содержанием (есть ли такое государственное образование? есть ли вообще такая страна, которой может быть “присвоенное”, “наречено” это имя?).

Эпитеты весьма красноречиво показывают эту “партикуляризацию”: для “прежней” России ими являются – *национальная Россия, са-*

модержавная Россия, державная Россия, царская Россия, императорская Россия, русская Россия, бывлая Россия: “Союзную былой России Францию толкают на финансовые жертвы ради помощи Германии, а последняя поддерживает СССР – врага России” (Голос России. 1931. 2 авг.). Для “новой”, советской России эпитетами служат: *советская Россия* (или заимствованное из советского языка сокращение *сов. Россия*); *подневольная Россия* – “Подневольная Россия молчит, а эмиграция пребывает в розни и блуждает во тьме...” (Голос России. 1931. 2 авг.); *оборванная и нарумяненная Россия* – “[Лео Лондон] рисует перед миллионами французов картину оборванной и нарумяненной России” (Возрождение. 1927. 4 окт.); *распятая Россия* – “...надо верно и дружно нам стать под святой стяг, поднятый Законным Царем. Надо сейчас же совершить то, что всего ненавистней всем врагам распятой России и, следовательно, что всего им полезней” (Русский стяг. 1925. 4–7 июня) и др.

Эпитеты, даже будучи относительными прилагательными, приобретают в публицистическом тексте сильную оценочность. Это явление хорошо известно в языке: относительность может легко переходить в качественность, это особенно касается политических понятий, терминов в переломные периоды развития общества. Ср.: прилагательные *советский, коммунистический, революционный* и некоторые др. в языке революционной эпохи приобрели сильную качественность, порой оказывающуюся доминирующей (Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. М., 1968). В языке эмиграции оценочность сквозит в прилагательных, причастиях, других синтаксических конструкциях: *живая Россия* – “...бродячий революционный спрут, насевший на живую Россию” (Возрождение. 1939. 7 июля); *воскресшая Россия* – “Воскресшая Россия никогда не простит пролитой крови невинных” (Возрождение. 1937. 20 нояб.); *мыслящая, творящая и трудящаяся Россия* – «Вся борьба Дзержинского, Сталина и прочих аппаратчиков с троцко-зиновьевской оппозицией была и остается только “рупором” той борьбы, которую ведет вся мыслящая, творящая и трудящаяся Россия с реакционной, изжившей себя схоластикой ленинизма» (Дни. 1926. 21 нояб.); *Россия Христа* – “коммунизм умрет – и восторжествует Россия Христа” (Голос России. 1933. янв.–февр.–март) и многие др.

Очевидно, приведенных примеров достаточно, чтобы утверждать, что для эмигрантского сознания имя *Россия* выступает как образ: происходит – с одной стороны – олицетворение России, с другой – образуется смысловая и духовная перекличка с библейскими страданиями Христа: *воскресение России, восстанет и Россия, пытки над Россией, Россия голодает, порабощение России большевиками, жизненность России, чтобы Россия стала свободной и довольной, Россия*

при большевиках, большевицкое разложение России, обезглавить Россию, Россия заструилась потоками крови и слез и т.д.

Метафоричность восприятия имени *Россия* рождает сравнение с вольной степной лошадкой: “Со стороны, да еще издали, трудно представить и оценить страшную губительность сталинской коммунистической банды, которая взнуздала, оседлала вольную степную лошадку – Россию и пока гонит ее, куда хочет” (Русский голос. 1939. 26 марта). Ассоциативное сцепление названия *Россия* с удалой ездой на лошадях и тройкой (ср. “Мертвые души” Гоголя) или длинными многоверстными перегонами между остановками в пути (ср. “Станционный смотритель” Пушкина) или молодым жеребенком (ср. поэму “Русь Советская” С. Есенина, где в образе молодого жеребенка легко угадывается деревенская, сельская Россия), видимо, у русских достаточно глубоко проникли в смысловую структуру имени *Россия*, так что появление сравнения в публицистическом тексте как развитие символа не случайно. Символ только тогда жив, когда появляются новые формы словесного, языкового выражения в границах заданного образа – образа (смысловой связи символа).

Восприятие имени *Россия* не просто как географического термина (топонима), а образа приводит к появлению большого количества словосочетаний, характеризующих отношение к слову со стороны разных партий, движений, групп: *любовь к России, враг России, в борьбе за Россию, палачи России, убийцы России, пораженцы России* и т.д.

С семантической точки зрения приложения выступают средством характеристики предмета через параллельное наименование. В эмигрантских изданиях одним из самых частотных приложений выступает слово *Родина*, которое сопрягается с именем *Россия* очень часто: *общая Родина-Россия, несчастная Родина Россия, Великая Родина Россия*.

Таким образом, имя *Россия* в эмигрантской публицистике (1919–1930-е годы) свидетельствует об особом прагматическом напряжении данного обозначения и его насыщенном смысловом содержании, позволяющем “вычитывать” и вычленять в нем актуальные смыслы, сопряженные как с историческими аллюзиями, так и с современной эмигрантам действительностью. Имя *Россия* оказывается *образом*, раскрывающим в тексте скрытые, “спрятанные” внутри смыслы, спрессованные в нем представления и ассоциации.

Для советского языка было характерно стремление к полному отрыву и разрыву имени со старыми, дореволюционными, царскими представлениями, ассоциациями и наполнение его новым смысловым содержанием. В эмигрантском сознании название страны встраивалось в многомерную историко-хронологическую систему форм одного слова (парадигму), элементами которой – помимо названных – яв-

лялись *Советы, СССР, СССР-ия, Советская Россия, Кремль, Совдепия, Советский Союз, Триесерия, Союз Советских Социалистических Республик, Чингисхания, Восток.*

Одним из наиболее частотных употреблений в эмигрантской публицистике являлось использование наименований *Советская Россия, Советский Союз*. Даже если эти названия применяются как номинативные единицы, нейтральность их кажущаяся: идеологический уточнитель *советский* решает все дело – его прагматика практически для всех эмигрантских групп негативна. Написание еще не устоялось: можно встретить такие формы – *советская Россия, Советская Россия, сов. Россия*. Первая из них – свидетельство того, что прилагательное воспринимается эмигрантами только как лексическое определение, а словосочетание еще не стало составным термином; вторая – говорит о том, что сформировался составной термин из двух номинативных единиц, третья – является, очевидно, вынесенной из “советского” языка, где эта слоги-словная аббревиатура использовалась очень широко.

Обозначение *Советский Союз* в эмигрантской публицистике пишется либо со строчной, либо с прописной буквы. Прагматический потенциал данного обозначения в глазах эмигрантов оказывается однозначно негативным: “Мы хорошо знаем, как трудно Русским людям, сидящим за проволокой той огромной тюрьмы, что называется Советским Союзом, и принужденным видеть все через лживые очки красных советских газет, разобраться в том, что делается на белом свете” (*Русская правда*. 1925. сент.–окт.); “Правители советского союза – уголовные гангстеры, пользующиеся услугами и знаниями гангстеров политических. Оба типа имеют один и тот же признак: атрофию психических центров, управляющих представлениями о моральных ценностях” (*Русский голос*. 1939. 26 февр.). Ярким графическим знаком, переводящим наименование в плоскость иронии или смысловой фиктивности, являются кавычки: «“Известия” негодуют на вмешательство французской Палаты во внутренние дела “советского союза”» (*Дни*. 1925. 15 февр.). Существовало также слоги-словное написание *сов. союз*: «Некоторые депутаты, рассказывая о кровавых пиршествах чекистов в Грузии, одновременно поддерживали стремление грузин к отторжению от СССР. В этом “Известия” увидели выступление против “единства сов[етского] союза”» (*Дни*. 1925. 15 февр.). Справедливости ради следует заметить, что неупорядоченность этих написаний была свойственна и советскому языку в 20-е годы.

В эмигрантской публицистике также используется “метонимическое замещение *Советы* (< *Советы рабочих и крестьянских депутатов*) для обозначения Советского государства, вынесенное из большевистских изданий: “В германских промышленных кругах, имеющих

дело с Советами, довольно сильное впечатление произвел арест жившего в Москве крупного дельца Юлия Исааковича Гессена” (Сегодня. 1930. 14 янв.); «...радуясь за “клику” японских “плутократов”, большевики сулят россиянам только журавля в небе: “очень возможно, что советско-японское соглашение даст новый толчок к сближению между Америкой и советами”... Жди!» (Дни. 1925. 30 янв.).

Еще во времена Гражданской войны родилось обозначение территорий, занятых большевиками, – *Совдеп*, *Совдепия*. Хотя наименования использовались особенно широко антибольшевистскими партиями и группами, они проникли даже в большевистский речевой обиход, однако в 20-е годы были вытеснены как обидные и неблагозвучные; “Так как в Совдепии процветает небывалое в истории России взяточничество, то большинство беженских эшелонов имело возможность выбраться из Советской России благодаря крупным взяткам советским работникам” (Руль. 1920. 1 дек.); “... за последний год люди стали спасаться не от лично против них направленных скорпионов, а просто – от чудовищных, невозможных и невыносимых – политических, материальных, правовых, культурных – условий, превращающих жизнь в Совдепии в подлинный ад” (Владимир Набоков. Мы и Они // Руль. 1920. 2 дек.).

Самое пристальное внимание эмигрантов привлекала аббревиатура *СССР*. Новизна, непривычность и непонятность такого обозначения рождала самые различные ассоциации или толкования. Одно из них – прочтение второго компонента как существительного *Союз Советов Социалистических Республик*: “...главным соперником Японии на Дальнем Востоке (...) являются не Америка и не Китай, а ближайший и коварнейший сосед в лице Союза Советов Социалистических Республик, или короче – СССР-ия” (Голос России. 1932. сент.–окт.).

Попытка адаптации аббревиатуры *СССР* к названиям на =ия (-ија) часто встречается на страницах эмигрантских изданий и может свидетельствовать о двух процессах: о “языковом” способе “борьбы” с чуждым идеологическим и политическим термином; приспособлением топонимической аббревиатуры к системе русского языка по типу *Россия* и неологизмов послереволюционного времени *Совдепия*, *Большевизия*: “...начиная от Северного Кавказа, через Волгу и Урал на Западную Сибирь и далее вплоть до берегов Тихого океана по СССР-ии прокатилась грозная волна землеробных восстаний, ближайшее участие в которых, на стороне землеробов, приняли широкие слои низовых властей советского партийного аппарата” (Голос России. 1933. янв.–февр.–март); “Там, в СССР-ии, в пятнадцатилетней изуверской попытке четвертования души и тела, русский народ безусловно приносит искупительную жертву за тяжкий грех временного ослабления в Христовой вере и братской любви, и, перерождаясь, по-

степенно пробуждается к возрождению национального единства” (Голос России. 1933. янв.–февр.–март).

Активизация образований на *-ия (-ија)* для обозначения политико-географических реалий не является чисто эмигрантским изобретением, а была вообще характерна для языка 20-х годов: *Скоропадия* (по имени гетмана Скоропадского), *Совдения* и даже *Эрэсэфсерия* (А. Мазон. *Lexique de la guerre et de la révolution en Russie* (1914–1918). Paris, 1920). Очевидно, модельность спровоцировала также возникновение в языке неологизма-обозначения *Большевизия* по аналогии с именем *Совдения*: “Этот, когда-то очень талантливый, писатель [А. Толстой] еще в 1922 году сменил эмигрантское существование на советское житье-бытье. В большевизии сразу же занял он весьма сытное местечко подле власть имущих...” (Возрождение. 1939. 14 июля); “В Большевизии нельзя звонить в колокола” (Дни. 1925. 10 февр.).

Написание инициальной аббревиатуры *С.С.С.Р.* (с точками, то есть как графическое сокращение) редко встречается в эмигрантских изданиях, гораздо чаще – без точек. Этот процесс был также характерен и для советского языка: “точечные” написания стали уступать место лексикализированным (без точек), а в начале 30-х годов практически сошли на нет (Словообразование современного русского литературного языка. М., 1968). Обозначение *СССР* служило предметом языковых и идеологических манипуляций у эмигрантов, и многие из них отказывали в праве на существование самому понятию, не видя в нем реальных содержательных элементов: «За теми же, сталинскими, дрожками услужливо бежали и бегут “Последние новости”, забрызгавшие себя, теперь уже с ног до головы, большевицкой грязью. Что для них СССР. Без малого – “нормальное государство” – сказано в передовице “Последних новостей”...» (Возрождение. 1939. 7 июля); “Говорят об англо-франко-русских переговорах, как будто в течение двадцати лет Россия не заключена в грязный и кровавый гроб, именуемый СССР” (Возрождение. 1939. 7 июля); и мн. др.

Повышенная метафоричность и публицистичность термина *СССР* вызывала негативные ассоциации и фонологического характера: “Официально в этом году России не было. Она была переименована в четыре звука какого-то разбойничьего посвиста – СССР...” (За свободу. 1925. 1 янв.). Сопоставление данной аббревиатуры со свистом и обращение к народно-фольклорным мотивам свиста (“ всю страну просвистели”) вообще часто встречаются на страницах эмигрантских изданий, не только публицистики. Родовая принадлежность аббревиатуры *СССР* также не определилась – мужского, женского и среднего рода: “Эта самая обстановка существует во всей СССР под властью Политбюро: кого комячейка хочет почему-либо уничтожить, того уничтожает” (Дни. 1925. 11 февр.); «...эмиграции приходится выносить борьбу за духовные ценности русского народа, сохранять то, что

мешает действительному превращению России “всерьез и надолго” в безличное СССР» (Дни. 1925. 27 янв.).

Непривычность наименования страны аббревиатурой *СССР* породило в эмигрантской публицистике ироническое обозначение *Триесерия*: “...рассчитывать на сытую и привольную жизнь в условиях Триесерии не приходится” (Рус. голос. 1939. 1–14 янв.); “Невежественные правители Триэсерии, настроенные, как и полагается истинным революционерам, истерически, не могут, конечно, понять, что в старой культурной Англии относятся ко всем явлениям жизни спокойно и уравновешенно, будь то хотя бы чествование великого национально-го гения (...) И ровно через двадцать пять лет отпразднует Англия четырехсотлетие со дня рождения Шекспира. Но откликнется на это празднество, даст Бог, уже не Триэсерия, а настоящая национальная Россия” (Возрождение. 1939. 14 июля).

Метонимическими замещениями названий *Советская Россия*, *СССР* часто служат названия *Москва*, *Кремль* как символическое средоточие большевистской политики и советского государства: “На самом деле заключать настоящий союз с Англией и Францией Москва не хочет, а с Германией – и не может” (Возрождение. 1939. 7 июля); «Та же линия Москвы – точь-в-точь! – проводилась из дня в день “Юманитэ”, по явному заказу Кремля» (Возрождение. 1939. 7 июля); “Таковы мысли Красного Кремля, мысли безусловно большие, широкие, хитро задуманные и сулящие советской власти и 3 Интернационалу широкие перспективы в отношении обеспечения их военного вторжения вглубь азиатских государств” (Голос России. 1931. 1 окт.).

Сопряжение нового названия с прошлой историей страны возрождает старое, бытовавшее в иностранных источниках XVI–XVII веков наименование *Московия* и рождает неологизм *Чингисхания*: “Современные нам последыши славянофильства идут дальше. Для них идеал настоящей России находится в глубине веков, когда Русь была только Востоком. Возвеличивая Чингисханию, они забывают, что главным желанием русского человека тех времен было – да минет Бог орду.

И как только Русь стала на ноги, то скоро потянулась к свету обещанной европейской культуры” (Дни. 1925. 10 февр.). Таким образом, публицистические обозначения России служат для эмигрантов, оказавшихся в большинстве своем в европейских странах, средством осознать роль и место утраченной ими отчизны в европейской истории и культуре.

Санкт-Петербург



Библейские названия в топонимии Валаама

Л. В. МИХАЙЛОВА

Валаам, один из островов одноименного архипелага, расположен в северной части Ладожского озера. Существующий здесь на протяжении многих веков православный монастырь не мог не повлиять на топонимию его окрестностей. Иначе откуда могли появиться здесь *Елеон*, *Сион*, *Фавор*, *Мертвое море*, *река Иордан*, *Гефсиманский сад*?

С приходом на Валаам монашеского населения многие географические объекты получили новые названия, которые были перенесены на Валаам с карты Палестины и связаны с библейскими легендами.

В западной части Валаама, в районе Большой Никоновской бухты, расположен Воскресенский скит. Строительство скитского храма было начато в 1902 году. Созданный по аналогии с храмом Воскресения в Иерусалиме, он стал называться *Новый Иерусалим*. В храме две церкви. Нижняя – во имя апостола Андрея Первозванного – находится в полуподвале здания и называется также Пещерным храмом. Мрачное темное помещение церкви должно было напоминать паломникам пещеру, в которой, по библейской легенде, находилось после распятия тело Иисуса Христа. Перед мраморным склепом, в приделе ангела, стоял кубической формы камень, подобие того, который был привален ко входу в пещеру Гроба Господня. На нем находилась частица “подлинного камня” из Иерусалима. Верхняя церковь храма, светлая и торжественная, во имя Воскресения Господня, позднее дала название храму и образовавшемуся скиту. Никоновскую гору, на вершине которой построен скит, называют иногда, по аналогии с Иерусалимом – *гора Сион*. Хотя это название и является микротопонимом, употребляется в речи местного населения очень редко.

Из Большой Никоновской бухты, от Нового Иерусалима, главная монастырская дорога ведет в Малую Никоновскую бухту и при подходе к следующему скиту проходит по мосту через небольшую канаву – *Кедрон*: “Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его” (Евангелие от Иоанна. 18, 1).

На Валааме, за Кедроном, в 1911 году был основан Гефсиманский скит, состоящий из церкви, двух часовен и двух домов. Построенный в низине, в окружении могучих сосен и елей, маленький деревянный скит выглядит тепло и уютно. Здесь необыкновенно хорошо и зимой и летом. Все строения Гефсиманского скита покрашены в желтый цвет. Окрестности скита имеют также библейские названия. Как мы знаем из легенды, в сороковой день по воскресении из мертвых Иисус Христос явился ученикам, вывел их из города на гору Елеонскую (Масличную) и, подняв руки, благословил, и, когда благословлял, стал возноситься на небо. Гора на Валааме, у подножия которой стоит Гефсиманский скит, называется в честь этого события *Елеон*, а часовня на ее вершине – *Вознесенской*.

У подножия горы Елеон на Валааме находится местность, названная Гефсиманским садом. Из Библии известно, что после успения Богоматери тело ее было погребено в Гефсиманском саду, в пещере, где покоились тела ее родителей и праведного Иосифа. Поэтому церковь Гефсиманского скита на Валааме была названа *Успенской*.

Еще до успения Богоматери Иисус Христос после Тайной вечери находился в Гефсиманском саду и усердно молился, был предан Иудой и взят воинами. *Моление о чаше* – так называется маленькая деревянная часовня в Гефсиманском саду Валаама.

Мерцаньем звезд далеких безразлично
 Был поворот дороги озарен.
 Дорога шла вокруг горы Масличной,
 Внизу под нею протекал Кедрон.

.....

Ночная даль теперь казалась краем
 Уничтоженья и небытия.
 Простор вселенной был необитаем,
 И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
 Пустые, без начала и конца,
 Чтоб эта чаша смерти миновала,
 В поту кровавом он молил отца...

Пастернак. Гефсиманский сад.

За воротами Гефсиманского скита дорога идет дальше, через Никоновское поле, называемое также *Иосафатовой долиной*: “Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отвсюду” (Книга пророка Иоила. 3, 12).

Следующим объектом с библейским названием *Мертвое море* является одно из внутренних озер Валаама – Лещевое. В одной из библейских легенд говорится, что, когда Иисусу исполнилось тридцать лет, он пришел на реку Иордан к Иоанну, чтобы “креститься от него”. На Валааме *Иорданом* называют искусственный канал, соединяющий внутренние озера Лещевое и Среднеостровское, первоначальное название которого – *Кирпичная канава* или *Кирпичный канал*. В Палестине река Иордан соединяет Мертвое море с Геннисаретским озером. По аналогии, так как озеро Лещевое называют на Валааме *Мертвым морем*, озеро Среднеостровское должно также иметь второе название – *озеро Геннисаретское*. Но это название нигде не встречается: ни среди местного населения, ни в литературе о Валааме. Таким образом, мы видим, что на Валааме наблюдается лишь частичное заимствование нескольких библейских названий.

От Лещевого озера дорога проходит по лесу и вскоре поворачивает влево, к Монастырской бухте, где на горе возвышается Спасо-Преображенский собор одноименного монастыря. У горы есть неофициальное название – *Фавор*. По Библии, Иисус Христос незадолго до своих страданий взял трех учеников Петра, Иакова, Иоанна и вззошел с ними на гору Фавор помолиться. Пока он молился, ученики от утомления уснули. Когда же проснулись, то увидели, что Иисус Христос преобразился: лицо его сияло, как солнце, а одежда была бела, как снег, то есть, Преображение Иисуса Христа произошло на горе Фавор.

Однако, несмотря на то, что некоторые географические объекты Валаама имеют библейские названия, скопировать точно план Иерусалима валаамским монахам все же не удалось. Так, например, в Палестине Кедрон берет начало не в районе Гефсиманского сада, как мы видим на Валааме, а протекает от горы Сион, около горы Елеонской через Долину Кедрон, Иудейскую пустыню и впадает в Мертвое море. Если такие названия, как *Новый Иерусалим*, *Гефсиманский скит*, *Кедрон*, *Елеон* официально закрепились на Валааме и встречаются в различных источниках, то названия *гора Фавор*, *Сион*, *Мертвое море*, *река Иордан*, *Иосафатова долина* являются микротопонимами, которые бытуют в рассказах экскурсоводов, монахов и местных жителей.

Петрозаводск

Былина о Дунае: образ невесты-богатырши.

О. Ю. ТИХОМИРОВА

Дунай – богатырь, разъезжающий из земли в землю, которого Владимир посылает сватать себе невесту. Дунай добывает невесту и для себя, поляницу Настасью, давшую обет выйти замуж за того, кто ее в бою пересилит. Роковой спор на свадьбе о меткости приводит к гибели Дуная и Настасьи. Из их крови потекла река.

Сюжет героического сватовства – древнейший и популярный. В.Ф. Миллер называл в качестве возможного прототипа воеводу Дуная, служившего волынскому князю Владимиру Васильевичу. Б.А. Рыбаков нашел в былине отголоски Салтовской культуры, сложившейся в VIII–IX веках в древней земле амазонок. А.М. Лобода видел в сюжете отражение реальной женитьбы князя Владимира на полоцкой княжне Рогнеде, а также позже – на сестре византийского императора Анне.

Интересен образ невесты Дуная. Этот вопрос затрагивался учеными, которые высказывались о былине в целом. Наиболее подробно писали о ней в связи с вопросом о заимствованиях из других эпосов. Например, Б.М. Соколов сравнивал с германской версией сказаний о женитьбе Гуннара на Брюнхильде при помощи Сигурда. М.Е. Халанский считал, что в основе лежит древнегерманский сюжет о женитьбе Этцеля-Аттилы на Кримхильде или Эрке. Напротив, Б.А. Рыбаков говорил о былине в связи с русской историей, соотнося Настасью с женщинами аланов (Салтовская дружинная культура), юго-восточных соседей зарождавшегося русского государства. Д.М. Балашов видит в Настасье сарматку, у которых были сильные пережитки матриархата; автор ссылается на античные источники, отмечавшие частые браки славян с сарматами в V–VI вв. н.э.

Наша задача – показать, как представлен образ невесты Дуная в текстах былины, собранных в разное время в разных областях России.

Дева-воительница, поляница Настасья (иногда – Марья) описывается исполнителями (сказителями) в традиционном былинном стиле, используемом для образа поединщика. В самом раннем тексте XVIII века, записанном в Сибири Киришью Даниловым, богатырь находит свою суженую “по бродячему следу”. Она спит в боевых доспехах в белом шатре. Победенная в рукопашном бою, она сама просит взять ее в жены:

Я у батюшки-сударя отпрошлася,
Кто меня побьет во чистом поле,
За того мне девице замуж итти.

(Древние российские стихотворения, собранные
Киршею Даниловым. СПб., 2000. Изд. 1-е. М., 1804)

В XIX и XX веках тексты этой былины записывали в Олонецкой и Архангельской губерниях.

Олонецкие сказители (Западное Заонежье) XIX века в большинстве былин описывают богатырскую силу поединщика Дуная приемом, широко используемым не только в былинном, но и в сказочном эпосе – мощь всадника передается через поступь его коня:

Она ехала в погону по чисту полю,
А скакала на кони богатырскоём
Да по славну роздолью чисту полю;
По целой версты конь поскакивал,
По колен он в земелюшку угрызывал,
Он с земелюшки ножки выхватывал,
По сенной купны он землики выветривал,
За три выстрела камешки откидывал.

(Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом
в 1871 г. Изд. 4. Т. 1–3. М.–Л., 1949–1951.
Далее – Гильфердинг)

Опора на сказочный канон явно видна в описании коня в записях XX века:

Де гонит она своёво-то резва коня,
Де зи-под копыт-то конинных и выворациваится
Мать сыра земля как лютые пеценьки,
Де из ушей и от коня тут пар столбом стоит,
Де из ноздрей у коня да искры сыплютсе.

(Былины Севера. Подгот. текста и комм. А.М. Астаховой. Т. 1–2. М., Л., 1938. 1951)

Олонецкая традиция сохраняется в описании поединщика, его по-прежнему изображают грозным и по-прежнему мощь всадника передается через лошадиную поступь:

Он ведь видит во чистом поли
Да мать сыра земля колыблется,
Пыль столбом да поднимается.

(Там же)

По три пудика камешки вывертывал,
За три поприща камешки отлётывали.

(Гильфердинг)

В нескольких былинах есть только косвенное указание на силу противника – глубокая (великая) лошадиная ископыть. И более образно – у сказителя В.А. Норкина:

Наехали они на ископы лошадиныя
По колен он (конь) землю рвал.

(Былины новой и недавней записи из разных местностей России. М., 1908)

В былинах Архангельской губернии (в отличие от Олонецкой) богатырь чаще сначала встречает белый шатер поляницы и ископыть, иногда даже с угрожающей надписью:

А на ископыти подпись похвальная:
“Хто во этую поедёт дороженьку,
Дак тому-то и вить живу не быть”.

(Песни, собранные П.В. Киреевским. Вып. 1–4. М., 1861–1862)

А потписано было со югрозою:
“А хто ззади поедётъ, – дак живому не быть”.

(Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. с напевами. Т. 1. М., 1904; Т. 2. Прага, 1939; Т. 3. СПб., 1910)

В поздних текстах нет гиперболизации “супротивничка”, в записях XX века выделяется один текст сказителя А.И. Палкина, пропевшего полный и стройный вариант былины. Его описание погони близко к варианту XIX века:

Де как припадывал он и ухом к матери сырой земли,
Де как тут учул он топот-от кониный,
И де как узнал он над собою догонюшку.

(Былины Севера)

Этот текст перекликается с кулойской традицией. Услышав погону, ухом к земле припадает Дунай только в одном варианте сказителя Т.И. Широкого в “Архангельских былинах...”.

Супротивник в архангельских текстах не рисуется грозным. Сказитель И.Т. Мяхнин дает такое описание поляницы:

Не доехавши до Киева богатого
Ездит поляница, веть полякуёт:
Мецё копьё да по поднебесью,
Наежат на то копьё да мурзоменьцькоё,
Хватат она то копьё да во белы руки.

(Былины новой и недавней записи...)

Только в одном тексте (сказительницы Н.С. Еремеевой) описана тяжелая палица поединщика:

На добром то кони по полю поскакивае,
Да булатную паличю помахивае,
Правой рукой паличю покидывад,
За облаки паличей захватывал,
Левой рукой паличю подхватывал.
В руках палича была 90 пуд.

(Былины новой и недавней записи...)

Сам всадник изображается реже, при этом образ противника сливается с именем более поздних врагов Руси:

Рыкнул Татарин по звериному,
Свиснул Татарин по змеиному:
В чистом поле камешки раскатывались,
Травяшки в чистом поле повянули,
Цветочки на землю повысыпали,
Упал Дунаюшка с добра коня...

(Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. В 3-х т. Изд. 2.
Т. 1–3. М., 1909–1910)

В позднейших записях Олонецкой губернии уходит из былин свист “по-змеиному” и рык “по-звериному”, но еще можно встретить поэтическое описание двух соперников с приемом отрицательного параллелизма:

Тут не два ветра в поли слетались,
Не две тучи на небе сходилися,
Сходилися, слетались
Два удалых добрых молодца.

(Былины Пудожского края. Петрозаводск, 1941)

Встреча двух соперников передается яркими метафорами:

Как две горы скатываются,
И ударили они палицами булатными,
Так аки гром грянул.

(Гильфердинг)

Отличительной чертой олонекских былин в записях XX века является то, что Настасья сама просит взять ее в жены и каждый раз объясняет это решение обетом:

“Ты послушай, Дунай да сын Иванович!
Я три года езжу во чистом поли полякую,
Ищу себе поединщиков.
И завет положила:
Кто меня с седла сшибет,
За того замуж пойду”.

(Былины Севера)

“У меня-то есть завет положенный:
Кто победит меня – за того замуж пойду”.

(Русские эпические песни Карелии.
Петрозаводск, 1981)

“Много лет я ездила во чистом поле,
Не нашла себе да супротивника,
Чтобы мог спустить меня с добра коня,
Победил ты силу богатырскую,
А ты возьми-тко меня да во замужество”.

(Былины Пудожского края)

Имеется вариант, в котором обет звучит как условие. Поляница предлагает разъехаться на три версты и заключить уговор:

“А ведь не собьешь ли со добра коня, –
А ведь я тебя собью да со добра коня, –
А то тебе взять меня за себя замуж;
А если ты меня собьешь да со добра коня,
То руби ты от стыда мне буйную голову!”

(Гильфердинг)

Настасья сбивает с коня Дуная, и он выполняет обещание.

Если в Олонецкой губернии в XX веке количество текстов почти такое же, что и в XIX веке, то в Архангельской губернии былинных записей в XX веке значительно меньше. Нет описаний ископыти или следа поляницы, передающих образ грозной погони. Возможны лишь упоминания типа:

Как идет ведь там рать-сила великая...

(Былины Севера)

Што ездит храбёр добрый молодец,
Копья кидат кверху, на подъезде подхватывает.

(Там же)

Как и в записях XIX века, Настасья сама просится в жены очень редко, упоминаний об обете не встречается, в отличие от записей из Олонецкой губернии за XX век. Напротив, на предложение Дуная о замужестве она отвечает неохотно:

“Да когда я теперича у вас в руках,
Да делай же ты надо мной што тебе требуйтце.”

(Былины Севера)

“Кабы я не здесь была – теперь воля ваша же!”

(Там же)

В описании Настасьи-богатырши сказители опираются на канон, выработанный былинной традицией: мощь поляницы описывается косвенно, через поступь коня, огромную палицу. Настасья в этом отношении – типичный супротивник богатыря.

Настасья – не обычная невеста. Она совсем не похожа на традиционную царевну, покорно ожидающую жениха в тереме. Настасья скорее близка к скандинавским валькириям или богатыршам волшебных сказок, но не тождественна им, являясь исконно русским образом. Архаичность сюжета позволяет предположить, что история Дуная и Настасьи была сложена в догосударственный период, в отличие от сюжета о женитьбе князя Владимира. Объединили их позднее, скорее всего, из-за общей темы.



Качество, естество

Ю. Л. ВОРОТНИКОВ,
член-корреспондент РАН

Словарный состав русского языка формировался на протяжении долгих веков, и в него в разное время и по разным причинам проникали заимствованные из других языков слова, иные, вытесняя уже существовавшее исконно русское слово, иные, приходя с неведомой ранее русским вещью, как и именем, иные, возникая для обозначения какого-либо нового понятия. Многие заимствованные слова настолько прочно вошли в состав русского языка, что их иноязычность уже совершенно перестала ощущаться, как например, *тетрадь* (из греческого), *комната* (из латинского), *карман*, *деньги* (из тюркских), *билет*, *суп* (из французского), *тарелка* (из немецкого), *зонтик* (из голландского) и многие другие.

Особое место среди заимствований занимают слова, пришедшие в русский язык из языка церковнославянского. Церковнославянский язык – это не язык какого-либо славянского народа. Этим термином называют язык дошедших до нас славянских памятников письменности X–XI веков, продолжавших традицию переведенных с греческого языка первоучителями славян Кириллом (Константином Философом) и его братом Мефодием в IX веке богослужебных и канонических книг. В основу церковнославянского языка лег диалект южных славян, живших в районе города Солуня или, по-гречески, Фессалоники, бывшего родиной Константина и Мефодия. Однако сам церковнославянский язык стал первым общеславянским литературным языком, так же, как и созданная Кириллом азбука стала первой общеславянской азбукой.

Значение первого литературного языка славян для их дальнейшей истории огромно. Как пишет известный исследователь Кирилло-Мефодиевского литературного наследия Е.М. Верещагин, “вновь созданный литературный язык стал средством приобщения славянства не только к ценностям христианства, но и ко всей аккумулированной в

нем и преображенной античной культуре. На самом деле, вместе с принятием христианства славяне познакомились с основами и системами юриспруденции, философии, эстетики (включая изобразительное и певческое искусство), медицины, градостроительства и финансового дела, а также естественных наук и техники (математики, географии, биологии, добычи и обработки металлов и т.д.), – а все они имеют дохристианское происхождение” (Верещагин Е.М. История возникновения древнего общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. М., 1997).

Для того чтобы перевести на новый славянский литературный язык основные богослужебные и канонические книги, первоучителям Кириллу и Мефодию и их последователям пришлось разрабатывать и реализовывать сложную переводческую технику, позволившую создать в кратчайшие сроки славянскую научную терминологию в самых различных областях знаний. Одним из примеров философских терминов, созданных, возможно, во времена Кирилла и Мефодия или немногим позже, может служить слово *качество*, вряд ли кем-либо, кроме специалистов, воспринимаемое сегодня как заимствование.

В церковнославянском языке слово *качество* (*качьство*) было образовано от местоимения *какъ* (краткая форма местоимения *какой*) с помощью суффикса *-ство*. Согласный *к* перед *ь* изменился в *ч*, а гласный *ь* после падения редуцированных – в *е*. По сути дела, это слово является калькой с греческого названия категории качества, которую Аристотель обозначал вопросительным местоимением *какой*.

Слово *качьство*, вошедшее в древнерусский язык не позднее XI века, встречается уже в Изборнике Святослава 1073 года: “Качьство есть вьсущная сила, рекьше о родех убо съставная розличья, рекьше словесное, съмрьтное, бесъмрьтье и прокая” (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1980. Вып. 7; далее – СлРЯ XI–XVII вв. Вып.). Являясь отвлеченно-книжным славянизмом, это слово относилось к числу “неудобь познаваемых речей” и требовало специального толкования (Виноградов В.В. Русский язык. Изд. 2-е М., 1972). Вот как толкуется оно в одном из словарей XVII века под названием “Книга глаголемая греческий алфавит”: “Качьство, естество каково чему любо: аще речеши, видех человека, и реку ти какова человека: бела ли, черна ли, и паки млада ли или стара, то есть качьство, еже есть каковство” (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 7).

Подобным же образом толкуется это слово в азбуковниках XVI–XVII веков, например: “Аще речеши: видех человека, вопрошу ти о качестве его, рекше о каковстве лица и образа, еже есть черни или бел, стар или млад. Сице качество глаголется и при древех, птицах, зверех, камнех, питий и яствий и прочих вещех. Различно бо лица естество имуть” (Сахаров И. Сказания русского народа. СПб., 1849).

Для толкования слова *качество*, как видим, используются два слова: *естество* и *каковство*.

Естество – это старославянская калька с греческого названия еще одной аристотелевской категории: *ousiav* (от глагола *быть, существовать*) – “усия” или “сущность”, “субстанция”. *Каковство* – это как бы вторичная калька. После того, как внутренняя форма слова *качество* из-за различных фонетических изменений стала непрозрачной, затемнилась ее связь с местоимением *какой*, возникла необходимость в кальке с кальки: русское *каковство* равно старославянскому *качьство*, и оба они, по сути, значат “какойство”, или, если ввести это квазислово в ряд более современных терминов, “какойность”.

Любопытно отметить, что родственный русскому украинский язык пошел в “просветлении” внутренней формы слова *качество*, так сказать, до конца. *Качество* по-украински обозначается существительным *якість*, производным от местоимения *який*, имеющего значение “какой”, “каков”. Украинское слово *якість* равнозначно русскому *каковство*. Надо сказать, что и в некоторых древнерусских памятниках встречается перевод латинского слова *qualitas* (“качество”) словом *якость*. Однако в русском языке это слово, явно появившееся под влиянием польского языка, не прижилось, так как не соотносилось, как в украинском, с соответствующим местоимением.

У Аристотеля категория “усия” (“сущность”) называется также вопросом “Что это есть?”, или “Чем является?” (по-латински “*Quid sit?*”). Это обозначение “сущности” на латинский язык было переведено как *quidditas*, чему в русской философской традиции соответствует термин *чтойность* (от вопроса “Что это есть?”). Каким же образом в толковании слово *качество* в древнерусских азбуконниках столкнулись два таких несовместимых понятия, как *естество*, то есть “усия”, “сущность”, “субстанция”, или “**чтойность**”, и *каковство*, то есть “**какойность**”? На вопросы “Что это есть?” и “Какое это?” отвечают совершенно разные слова.

Однако никакого “*qui pro quo*” в толкованиях азбуконников нет. За вскрытыми противоречиями таится целая эпоха в развитии европейской философии. Ограничимся кратким пересказом всех хитросплетений этой захватывающей драмы мысли.

От Аристотеля идут две линии в учении о сущности. Первая нашла свое отражение в труде Аристотеля “Категории”. Здесь автор разделяет сущности на первые, или первичные, и вторые, или вторичные. Первые – это индивиды, индивидные существа или объекты, например: отдельный человек, отдельная лошадь. Вторые – это виды и роды, например: человек вообще, живое существо. Вторые сущности последовательно включаются в наивысший род – категорию “Сущность”. По Аристотелю, и первые, и вторые сущности реально существуют, но в разной степени. Отсюда возникает идея градации, или ие-

рархии бытия. Синонимом термина “усия” – “сущность”, понимаемого как индивид, выступает также слово *ипостась*, которое в православии закрепилось в значении “одно из лиц св. Троицы”.

Вторая линия в учении о сущности намечена в аристотелевской “Метафизике”, где находим такое резюме: “Итак, получается, что о сущности говорится в двух [основных] значениях: в смысле последнего субстрата, который уже не сказывается ни в чем другом, и в смысле того, что, будучи определенным нечто, может быть отделено [от материи только мысленно], а таковы образ, или форма, каждой вещи” (цит. по: Степанов Ю.С. Язык и метод. М., 1998). Термин *вторые сущности* в “Метафизике” не употребляется, и это влечет за собой важные последствия, имеющие самое непосредственное отношение к нашей теме. Поэтому позволю себе привести обширную цитату из упомянутого труда Ю.С. Степанова: «Вся иерархия категории Сущности именно как единой категории перестает существовать и все ярусы включений становятся чем-то вроде качеств первых сущностей. Действительно, с развитием этой точки зрения все большее развитие получает категория Качество. Она поглощает все верхние ярусы иерархии Сущности (т.е. все, кроме первых сущностей) и все остальные категории, кроме Отношения (Соотнесенного). В “Метафизике” по большей части проводится именно такой взгляд, но как бы в его начальном виде – речь идет о трех основных категориях: Сущность, Свойство, Отношение (Соотнесенное). В таких логико-лингвистических системах XX века, как система Р. Карнапа, гипертрофия понятия “свойство” (а это видоизменение категории Качество) достигает предела: “класс” отождествляется со “свойством”» (Указ. соч.).

Две линии в понимании сущности дали начало двум важнейшим направлениям в философии – к о н ц е п т у а л и з м у, или р е а л и з м у (первая линия), и н о м и н а л и з м у (вторая линия). Приверженцы реализма, как известно, утверждали, что общие понятия (универсалии) имеют реальное существование и предшествуют существованию отдельных вещей. Виднейшим реалистом был Ансельм Кентерберийский. К этому же направлению примыкал Фома Аквинский. Номиналисты же полагали, что реально существуют только отдельные вещи с их индивидуальными качествами. Общие понятия, создаваемые нашим мышлением, независимо от вещей не существуют. Номиналистами были Дунс Скотт и Окам. В новое время идеи номинализма развивались в учениях Беркли и Юма.

В средневековой философии два понимания сущности закрепились за двумя терминами, о чем известный исследователь истории философской терминологии А.И. Юрченко пишет: “Сущность как бытие само по себе (вещь, объект) преимущественно стала называться *substantia*, а сущность как суть вещи, как общее в вещах – *essentia*” (Юрченко А.И. Изборник 1073 года: интерпретация основных древнерус-

ских философских терминов // Вопросы языкознания. 1988. № 2). В философских главах Изборника Святослава 1073 года отражены оба понимания сущности – и как субстанция, и как эссенция. Здесь же дается толкование и термина *естество*, который “внешние”, то есть нехристианские, философы понимали как сущность, “окачественную до уровня низшего вида” (Там же). Впрочем, одновременно отмечается, что святые отцы использовали оба термина – и *сущность*, и *естество* – как синонимы, так как «и (слово) “сущность” образовано от (глагола) “существовать”, и (слово) “естество” – от (глагола) “есть”. Но (слова) “существовать” и “есть” означают одно и то же, ибо оба говорят о бытии, существовании» (Изборник 1073 г., перевод А.И. Юрченко. Указ. соч.). Следовательно, и термин *естество* мог толковаться в двух смыслах – и как сущность-субстанция, и как сущность-эссенция.

Такое понимание сущности как сути вещи, ее “эссенции”, то есть ее сущностных свойств, сближает эту категорию с категорией качества. Это находит отражение в толковании понятия “качество” в Изборнике 1073 года: “качьство есть вьсущная сила”, то есть сущность-эссенция вещи. В этом же смысле толкуется понятие “качество” через понятие “естество” в русских азбуковниках: “качьство, естество каково чему любо”. Однако термином *качество* обозначаются не только сущностные, то есть эссенциальные свойства вещи-субстанции, но и ее случайные свойства, то есть акциденции. И это второе понимание термина *качество* также отражено в определении Изборника 1073 года: качество как “съставная розличья”. Такого же рода случайные свойства вещей-субстанций подводятся под определение качества и в азбуковниках, так как различные “каковства” человека, приводимые здесь в толкованиях этого понятия, а именно *чearни* или *бел*, *стар* или *млад*, явно не могут войти в ряд его сущностных, эссенциальных свойств в том смысле, в каком таковыми являются “два естества Христова – божество и человечество”. Впрочем, авторы толкований азбуковников явно не осознавали этого тонкого философского различия *качества-естества-эссенции* и *качества-каковства-акциденции*: для них толкование “качьство, естество каково чему любо” равносильно толкованию “качьство, еже есть каковство”.

Надо сказать, что и слово *естество* в древнерусском языке употреблялось в философском смысле “расплывчато”, неоднозначно, покрывая своим значением, с одной стороны, и индивидные сущности – вещи (живые существа, вещества и пр.), а с другой стороны, их природные, то есть эссенциальные свойства, а также различные акцидентальные, то есть несущественные признаки. Таким образом, “чтойность” в слове *естество* совместилась с “какойностью”, и в этом значении *естество* выступает как синоним широко понимаемого *качества*.

Совмещение обозначения эссенциальных, сущностных и акцидентальных, случайных свойств вещей-субстанций у слова *качество* сохранялось и в русском языке последующих периодов его развития. В.И. Даль, например, толковал это слово следующим образом: *качество* – “свойство или принадлежность, все что составляет сущность лица или вещи. *Количество* означает счет, вес и меру, на вопрос *сколько*; *качество*, на вопрос *какой*, поясняет доброту, цвет и другие свойства предмета” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб. – М., 1881. Т. II).

В современной специальной литературе нашли отражение оба рассматриваемые нами понимания категории качества: и “качество-естество”, и “качество-каковство”. Так, А.Г. Спиркин пишет следующее: “Качество – это определенность объекта, составляющая внутреннее основание его изменений. Качество есть то, благодаря чему предмет на протяжении какого-то времени является тождественным самому себе предметом, в той или иной степени отличным от других предметов и с коренным изменением чего он перестает быть таковым – становится другим предметом” (Спиркин А.Г. Происхождение сознания. М., 1960). В другой работе находим утверждение, что предмет обладает бесконечным множеством качеств, общих с другими предметами: “Например, человек обладает качеством протяженности, тяжести, обмена веществ, наследственности и т.д. Эти качества характеризуют не только человека, но и другие тела, они, по существу, являются качествами материи вообще, вещества вообще, живого вообще и т.д.” (Диалектический материализм. М., 1974).

В языковедческой литературе качество чаще понимается как отвлекаемое свойство предмета, а не как его сущностная определенность. К.С. Аксаков, например, давал этому понятию следующую дефиницию: “Качество есть отвлеченная и понятая та общая сторона предмета, которая в нем находит осуществление, но которая не принадлежит ему непременно и, как общее, может принадлежать всякому явлению” (Аксаков К.С. Опыт русской грамматики // Полн. собр. соч. М., 1880. Т. 3. Ч. 2). Ясно, что так понимаемое качество – это именно “качество-каковство” древнерусских азбуковников или “качество-свойство” В.И. Даля.

Для современного русского языка употребление слова *качество* в значении “совокупность эссенциальных, сущностных свойств, придающих определенность предмету”, является принадлежностью терминологических систем специальных областей знания, в первую очередь философии. В обычном же, нетерминологическом употреблении слово это толкуется следующим образом: “то или иное свойство, признак, определяющий достоинство чего-н.” (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992). Качество может быть высоким, средним, низким. Однако ряд сочетаний с этим словом позволяет

сделать вывод, что часто им обозначают именно положительно оцениваемые свойства чего-либо. Именно таково значение этого слова в сочетании *знак качества*, который, как многие еще, наверное, помнят, должен был присваиваться изделиям особо добротным, то есть отличающимся высоким качеством. То же отразилось и в лозунге не столь уж давних времен: *Боритесь за качество продукции*. Ясно, что трудящихся призывали бороться за высокое качество того, что они производили.

Приведу несколько примеров из устной речи наших дней. Выступая на очень важном заседании, доктор филологических наук, декан филологического факультета говорит: “Во-первых, учебники очень разные по качеству, а о качестве некоторых из них говорить вообще не приходится”. С первой частью высказывания все понятно: есть учебники высокого, среднего и низкого качества. А как понимать вторую часть высказывания? Если мы говорим: “В этом году об отпуске говорить не приходится”, – все ясно, отпуску не бывать. Если кто-то заявляет: “А уж о твоём-то уме и вообще говорить не приходится”, – тоже понятно: нет, по его мнению, у собеседника никакого ума. Так что же, декан филологического факультета имел в виду, что существуют учебники, у которых вообще нет качества? Очевидно, так, но тогда приходится сделать вывод, что, говоря о качестве, он подразумевал именно высокое качество.

Еще более нагляден следующий пример. Редактор журнала, филолог по образованию, говорит о своем издании: “Можно сказать, качество гарантируется”. Ясно, что и в данном случае надо понимать слово *качества* как “высокое качество”.

Недавно в одном из магазинов я прочитал любопытное изречение, цель которого ясна – побудить покупателей не скупиться. Звучит оно так: “Горечь утраты качества остается надолго после того, как пропадает сладость дешевизны”. Нет необходимости объяснять, что горечь утраты можно испытывать, только потеряв что-то хорошее, то есть *высокое качество* некупленного товара из-за излишней экономности.

Интересно отметить, что именно такое значение слова *качество* фиксируется среди других в исторических словарях: “положительное качество, свойство чего-л. *Ея же [церкви святой Софии] качество и величество...*” (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 7).

Следует также добавить, что для прилагательного *качественный* словари фиксируют значение “очень хороший, высокий по качеству” (см.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч.).

Похоже, что слово *качество*, называя всю шкалу этого признака (*высокое-среднее-низкое качество*) в то же время, так сказать, “склонно” к обозначению положительного, так называемого “большого” полюса этой шкалы, то есть словом *качество* часто именуется именно *высокое качество*. То же может быть сказано и о некоторых

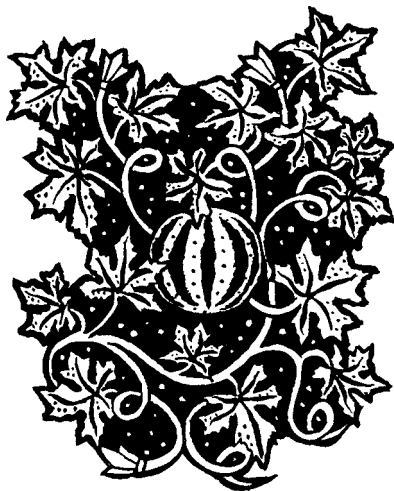
других общих названиях признаков, например *количество*, *температура*. Высказывание *Важно не количество, а качество* имеет значение “важно не то, что чего-то много, а то, что это что-то высокого качества”. Если мы говорим *У него температура*, это значит “у него высокая температура”.

Любопытно, что в народной речи XIX века слово *качество* всю шкалу признака вообще не обозначало. Оно имело значение либо “порок”, либо “достоинство”. Так, В.И. Даль писал: “Народ понимает *качество человека* в дурном значении. *За ним, кажись, никаких качеств нет*” (Даль. Т. II). То же значение “порок” имеет это слово в названии пьесы Л.Н. Толстого “От ней все качества”. Значение “достоинство” имеет слово *качество* в следующем примере: “И староста этот, Мирон Антоныч, мужик толковый, в полном качестве...” (Наумов Н.И. В забытом краю. Рассказы из быта сибирских крестьян. СПб., 1882).

В языке арестантов, как отмечал В.В. Виноградов, ссылаясь на “Словарь русского языка, составленный II-м Отделением императорской Академии наук”, значение слова *качество* еще более конкретизируется, сужается и начинает обозначать “преступление”, “мошеничество” (Виноградов В.В. История слов. М., 1994). Это значение иллюстрирует следующий пример: “Работать он не умеет и не хочет, и... пойдет с поселения бродяжить, дорогою будет пойман с каким-нибудь *качеством* и опять попадет в каторгу (*качество* – на арестантском языке преступление)” (Мельшин Л. [П.Ф. Якубович]. В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Изд. 2-е СПб., 1899–1902. Т. 1).

Итак, слово *качество*, войдя в XI веке в русский язык из церковнославянского как обозначение одной из аристотелевских философских категорий, прожило в нем долгую и интересную жизнь, опускаясь, так сказать, с философских вершин до тюремного дна и заняв в конце концов вполне нейтральное место как в языке науки, так и в разговорном языке.

Одно попутное замечание. Слово *каковство*, определяющее понятие “качество” через местоимение *каков* (в древнерусском языке имевшее значение как собственно “каков”, так и “какой”), ушло из современного русского языка. А ведь именно это, кажущееся нам сегодня несколько неуклюжим слово посредством своей совершенно прозрачной внутренней формы точно и недвусмысленно определяло данную категорию мышления. Возможно, сохранись оно в языке, – и вся последующая история философских споров вокруг понятия “качество” протекала бы несколько иначе. По крайней мере, В.И. Даль, как мы видели, ощущал нехватку подобного слова, когда, давая свое определение “качества”, прибежал к помощи местоимения *какой*.



Как дыня превратилась в арбуз и тыкву, а тыква в кабачок

Л. А. БАРАНОВА,
кандидат филологических наук

“Сам алый, сахарный, кафтан – зеленый, бархатный” – что это? – “Арбуз”, – ответят в России. “Кавун”, – скажут на Украине, в Белоруссии, а также в юго-западных областях России. Откуда же появились эти два совершенно разных слова в близкородственных славянских языках?

Дело в том, что они заимствованы из разных языков: *арбуз* восходит к персидскому, а *кавун* – через турецкий к арабскому, причем в том и в другом языках оба эти слова обозначали совсем другое растение (и его плод) – дыню. При этом все этимологические словари отмечают, что, обозначая дыню, персидское слово *харбуза* буквально переводилось как “ослиный огурец”. Однако вот что писал Л.В. Успенский в своей книге “Слово о словах”: «Примерно так, руководствуясь общепринятыми этимологиями, я рассказал о происхождении слова “арбуз” читателям журнала “Наука и жизнь” в 1965 г. Но вскоре затем я получил письмо из Ташкента. М. Даврон сообщил мне, что, по его мнению, “харбуза” надо понимать не как “ослиный огурец”, а как “осел-огурец”. В иранских языках, писал он, слово “осел”, присоединяясь к другим существительным, может придавать им своеобразное усиительное или увеличительное значение. Так, “хармуш”, т.е.

“осел-мышь”, означает “крыса”; “харсанг” – “осел-камень” значит “каменная глыба”. Поэтому и “харбюза” следует понимать как “огурец величиной с осла”, “огурчище”. Консультации у крупных ученых-иранистов подтвердили это сообщение» (Л. 1971).

Слово *харбуза* в значении “дыня” сохранилось и в современном персидском языке, а также в заимствовавшем его языке хинди. Претерпев определенные фонетические преобразования, оно вошло во многие языки – однако с другими значениями. Так, в значении “арбуз” оно существует в тюркских языках (турец. *karpuz*, кыпч., кум. *харбуз*, тат. *карбуз* – по данным “Этимологического словаря русского языка” А. Преображенского, в котором приведены и другие варианты, вероятно, более ранние – например, в татарском помимо *карбуз* также *карпыыз*, *карпуз*), а через них и в некоторые славянские языки: русское *арбуз*, польское *arbuz*.

Следует отметить, что в Словаре Преображенского приведено несколько фонетических вариантов этого слова в польском языке, вероятно, существовавших во время его возникновения под влиянием разных тюркских языков: *kārpuz*, *garbuz*, *harpuz*. Сохранившаяся в современном польском языке форма *arbuz* заимствована через посредство русского языка. В Словаре Преображенского отмечены еще и сербохорватское *karpuza*, болгарское *карпуз* с тем же значением “арбуз”. Однако в современных словарях данных языков приводятся совершенно иные варианты: *лубеница* (сербохорв.) и *дыня*, *любеница* (болг.).

Источники заимствования слова *арбуз* в русский язык разные словари определяют по-разному. Отмечается группа тюркских языков в целом и конкретные – в частности: татарский (Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. Изд. 2-е, 1975), кыпчакский, турецкий, крымско-татарский (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986), татарский, кумыкский (Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. М., 1910–1914).

В свою очередь русский язык стал источником заимствования этого названия не только в польском, но и в ряде балтийских языков: латышское *arbūjs*, литовское *arbuzas*, финское *arbunsi* (наряду с *vesimeloni*).

Между тем, в близкородственных русскому украинском и белорусском языках восходящее к тому же источнику слово *гарбуз* приобрело другое значение – “тыква”. Арбуз же в украинском, белорусском языках, в южнорусских диалектах, а также в польском языке (наряду с вариантом *arbuz*) получил название *кавун* (польск. *kawon*), заимствованное, как отмечается во всех этимологических словарях, из татарского языка, где этим словом обозначается дыня, как и в ряде других тюркских языков. В этимологических словарях приводятся следующие

примеры: *каун* – татарское, казахское; *когун*, *кавун* – уйгурское, чагатайское; *ковун* – узбекское, *кавын* – ногайское. Формы *кавун*, *каун* сохранились и в современных болгарских диалектах. В чувашском же языке, по свидетельству Словаря Преображенского, слово *кован* используется в значении “тыква”.

В свою очередь, происхождение слова *кавун* в тюркских языках традиционно возводится к арабскому *кавун* – “дыня”, и это утверждение последовательно кочует из одного этимологического словаря в другой (см., например, перечисленные словари, а также “Этимологичний словник української мови. 1982. Т. 2). Между тем, в современном арабском языке дыня обозначается другим словом: *шаммам*.

В Этимологическом словаре украинского языка указывается также на наличие слова *кавун* в некоторых западно- и южнославянских языках: чешском *kavon* – в значении “арбуз”, болгарском *кавун*, *каун* – в значении “дыня”. В Словаре Преображенского приводится польское слово *kawon* в значении “тыква”. Однако эти данные не подтверждаются современными словарями указанных языков: чешское *meloun* – “арбуз”, болгарское *пънеш* – “дыня”, польское *dynja* – “тыква”.

Следует отметить, что превращения персидского и турецкого названий дыни в разнообразные варианты названий арбуза и тыквы происходили лишь в других восточных и славянских языках. В большинстве же европейских языков название дыни восходит к ее латинскому наименованию *cucumis melo*: *melon* (англ., франц., исп.), *Melone* (немецк., итал., латышск.), *melão* (португ.), *meliuonas* (литовск.), *meleoni* (финск.).

В свою очередь, арбуз в некоторых из этих языков стал называться “водянистой дыней”: *watermelon* (англ.), *Wassermelone* (немецк.), *melon d'eau* (франц., устар.; в настоящее время в этом значении более употребительно слово *pasteque*), *melon de agua* (латиноамер. вариант исп. языка, в исп. – *sandia*), *vestimeloni* (финск.; используется наряду с заимствованным из русского языка *arbuusi*).

Западноевропейское название дыни проникло и в некоторые западнославянские языки, но также превратилось при этом в название арбуза, вытеснив в ряде случаев более ранние заимствования из восточных языков: чешское *meloun*, словацкое *melón*, словенское *melona*.

Для дыни же большинство славянских языков сохранило общеславянское наименование: русское, белорусское *дыня*, украинское *диня*, словацкое *duňa*, сербское и македонское *диња*, словенское *dinja*. При этом в ряде славянских языков наблюдаются и расхождения в значении этого слова: так, в чешском языке *dýně* – это название тыквы (наряду с *tykev*), в болгарском языке *диня* – это название арбуза (наряду с *любеница*). Происхождение этого общеславянского слова считается неясным.

В этимологических словарях отмечаются два основных варианта: «Одни считают производным с помощью суффикса *-ня* от той же ос-

новы, но с перегласовкой, что и *дуть*. В таком случае *дыня* буквально “дугая, пухлая”. Другие объясняют существительное *дыня* как заимствование из лат. *cydōnea*, восходящего к греч. *kudōnia* – “кидонское яблоко” (Кидон – город на острове Крит), пережившему фонетические изменения: *cydōnea* > **kъdūnja* > **gdūnja* > **dūnja* > *дыня*». (Шанский и др. Указ. соч.; См. также: Фасмер. Указ. соч. Т. I; Етимологічний словник української мови. Т. 2).

Значение “дутый, пухлый плод” можно найти и в другом общеславянском по происхождению слове *тыква*: «Восходит к общеславянскому *тыкы*, являющемуся древним заимствованием из фракийского языка. Исконный корень этого слова имел значение “пухнуть, вздуться”, следовательно, название предмета дано по внешнему виду плодов. Общеславянское *тыкы* (< **tīkū*), вин. п. *тыкъвъ*, на древнерусской почве подверглось влиянию слов ж.р. на *-а*» (Шанский и др. Указ. соч.). Впрочем, многие авторы (А. Преображенский, М. Фасмер, Л.В. Успенский) считали происхождение этого слова неясным. Оно с некоторыми фонетическими изменениями сохранилось в том же значении во многих современных славянских языках: болгарское и сербское – *тиква* (наряду с *бундева*), словацкое – *tekvica*, чешское – *tykev* (наряду с *dýně*), словенское – *tikva* (наряду с *húča*). В словарях А. Преображенского и М. Фасмера указывается и на наличие слова *тиква* в украинском языке, однако это не подтверждается современными словарями украинского языка, так как сохранилось лишь в некоторых диалектах. В литературном украинском и белорусском языках это растение и его плод носят заимствованное название *гарбуз*. Кроме того, в украинском языке оно имеет еще одно, заимствованное из турецкого языка, название – *кабак*, причем данное слово так же, как и в турецком, в ряде других тюркских языков обозначает не только тыкву, но и другое растение семейства *cucurbita*, известное в русском языке под названием *кабачок*.

Происхождение его достаточно прозрачно: «Собственно-русское. Образовано как деминутив с суффиксом *-ок* от заимствованного из украинского языка *кабак*, восходящего к тюркскому [*кабак*] – “тыква”, *к* чередуется с *ч* по типу *сук-сучок*» (Шанский и др. Указ. соч.). С тем же значением определенной разновидности семейства тыквенных это слово было заимствовано затем некоторыми другими языками: польское – *kabaczek*, чешское – *kabačok*, латышское – *kabači*. В некоторых славянских языках название кабачка также было образовано как деминутив, исходной формой которого становилось название тыквы в данном языке: *тиква* – *тиквочка* (болг.), *тиква* – *тиквица* (сербск.), *tekvica* – *tekvička* (словацк.).

Подобный процесс происходил и в некоторых неславянских европейских языках: *zucca* – *zucchini* (итал.), *calabaza* – *calabacin*, *calabacita* (исп.), *abobora* – *abobrinha* (португ.). Одна из этих форм – итальянское

название кабачка – *zucchini* была впоследствии заимствована многими языками (в том числе, русским) для обозначения определенного сорта кабачков, что соответствует закономерности: при наличии исконного наименования у родового понятия заимствованные наименования распространялись, как правило, на его конкретные разновидности. В русском языке при наличии общеславянского по происхождению родового наименования *тыква* последовательно заимствовались иностранные слова для обозначения вида – *кабачок*, а затем и определенных его сортов – *цуккини*, *патиссон* и др. И если слово *кабачок*, подвергшееся в русском языке определенной переработке, является, по сути дела, русским образованием, то названия его разновидностей были заимствованы практически без изменений.

Наблюдения показывают, что в сложном процессе языкового взаимодействия, лексического взаимовлияния восточные по происхождению наименования данной группы растений не заимствовались западноевропейскими языками и получили распространение только в других восточных, а также в славянских языках. Общеславянские по происхождению наименования также не вышли за пределы славянских языков. Заимствования же из европейских языков (хотя и более поздние) проникли в некоторые славянские языки, в том числе, и в русский, но в большинстве своем – с ограниченным лексическим значением.

*Симферополь,
Украина*



За знакомой строкой



Русская дача от Чехова до наших дней

Н. Л. ЧУЛКИНА

«Русское слово *дача* на иностранные языки переводится следующим образом – *dacha*. То есть перевода нет, есть только транскрипция. Это вовсе не значит, что мы такие уж особенные и неповторимые. За городом люди живут везде – на виллах, ранчо... Наша дача резко отличается от всех этих многообразных проявлений загородной жизни по смыслу. Она существует вовсе не для того, чтобы на ней отдыхать и наслаждаться жизнью. «Что я, “новый русский”, что ли?» – думает по этому поводу наш гражданин. И мало того, что думает, но и отказывается называть старым чеховским словом “дача” те загородные дома, где принято больше отдыхать» (Никонов А. Любимая каторга // Огонек. 1998. № 26). Приведенное высказывание как бы очерчивает “траекторию жизни” слова *дача* в русской культуре и в русском языке – от А.П. Чехова до наших дней.

Но сначала обратимся к истории. *Дача* – древнее русское слово – от глагола *давать* (*дати*). В XVI веке означало “дар”, “подарок”, “пожалование”. В XVII веке под словом *дача* понимается земельный надел или лесной участок, полученный от государства, т.е. даровой. Во второй половине XVIII века это слово получает новое значение: “загородный дом, небольшая усадьба, расположенная недалеко от города”. В Москве такие дачи были в черте города, по берегам Яузы и Москвы-реки. С середины XIX века начали строить дачи в Сокольниках и Петровском парке.

Во времена крепостного права дворяне имели дома в крупных городах и родовые усадьбы на лоне природы. Средние слои населения были почти лишены возможности соприкасаться летом с природой. После отмены крепостного права, с появлением класса богатых купцов и промышленников, в окрестностях Москвы и Петербурга начинается строительный дачный бум. Богатые купцы покупали у Удельного ведомства землю, строили на ней двухэтажные деревянные дома

и сдавали их на лето семьям купцов, чиновников, а затем – артистам, журналистам, художникам. Здесь *дача* означало то, что помещение сдается на какой-то срок.

Прежде всего дачи возникали вдоль железных дорог: Николаевской, Северной, Брянской, Рязанской и Брестской (отсюда сохранившееся по сегодня: “У вас дача по какой дороге?”). Эти дачные местности стали дачными поселками: *Ховрино, Сходня, Крюково, Лосиноостровская, Тарасовская, Клязьма, Мамонтовка, Пушкино, Перловка*. Дачные поселки строились на территории лесных массивов; часть леса не вырубалась, а сохранялась в виде парка; обычно дачи располагались недалеко от реки или озера, на берегах которых были купальни. Дачевладельцы сооружали недалеко от станций театр, круг для танцев, эстраду для оркестра, ресторан и т.д. Устраивались поля для футбола, площадки или крокета и тенниса. В Клязьме была специальная велосипедная дорожка. Все это для привлечения дачников.

Так, о купце В.С. Перлове, построившем в конце 1870-х годов около 70-ти дач по Северной железной дороге, сказано в книге М.П. Захарова: “...весь лес-парк изрезан дорожками, утрамбованными красным песком, по которым можно гулять даже (...) после дождя. По окраинам дач протекает река Яуза, с устроенными на ней купальнями (...) Каждое лето все дачи бывают переполнены жителями, а угодливый хозяин для развлечения своих жильцов приглашает музыку, которая играет в Перлове два раза в неделю...” (Захаров М.П. Окрестности Москвы по Ярославской железной дороге. М., 1887).

Во многих дачных поселках работали летние театры, в которых гастролировали лучшие московские и петербургские труппы или группы знаменитых актеров, свободных от спектаклей в городе. Особенно популярны были театры в Лосиноостровской, Малаховке (Малаховский театр), Перловке, Крюкове, Немчиновке, Пушкине, Удельной. Там выступали Ф. Шаляпин, Л. Собинов, А.И. Сумбатов-Южин. На даче К.С. Станиславского (Алексеева), близ станции Тарасовская, проходили первые репетиции спектаклей Московского Художественного театра.

В начале XX века выходили издания: “Малаховский вестник”, “Лосиноостровский вестник”, “Вестник поселка Лианозово”, “Дачник”, “Дачный вестник” (Нащокин М., “Гости съезжались на дачу...” // Памятники Отечества. Подмосковье. М., 1994. № 34).

В русском языке в этот период появились новообразования: *дачник, дачница, дачный поселок, дачный театр, дачевладелец*. Петербургский беллетрист и драматург И.Л. Леонтьев (Ив. Шеглов) написал прославивший его в то время водевиль “Дачный муж”. Это словосочетание стало именем нарицательным.

Чехов посещал окрестности Москвы, видел многие дачные поселки. Так, в нынешнем Мытищинском районе он бывал с художником

Константином Коровиным; на берегах Яузы они ловили рыбу, проходили мимо новеньких дач, принадлежавших чаеоторговцу В.С. Перлову.

Таким образом, появление слова *дача* в художественных произведениях А.П. Чехова было вызвано злобой дня: возникновением с конца 1870-х годов вокруг Москвы дачных поселков, преобразовавших облик Подмоскovie.

В середине 1880-х годов у Чехова появляются короткие юмористические рассказы из дачного быта: “Дачница”, “Дачное удовольствие”, “Дачные правила” (1874 г.); “Дачники” (1885 г.); “Один из многих” (1887 г.); переделанный в 1889 году в шутку в одном действии “Трагик поневоле (Из дачной жизни)”. В них можно встретить: *дачная жизнь, дачная мразь, дачник, дачный муж, дачный отец семейства*. Здесь и любительские спектакли, и танцевальный круг, и купальня на берегу реки. В пьесе “Чайка” (1896 г.) Тrepлев говорит о Нине Заречной: “Дебютировала она под Москвой, в дачном театре...”.

Сам писатель искал для себя на лето помещицью усадьбу, чтобы спастись от дачной суеты. И даже в 1892 году купил дом в деревне Мелихово под Москвой. Но деревенское окружение угнетало его, и 21 июня 1897 года Чехов писал из Мелихова А.С. Суворину о крестьянах: “Водку трескают отчаянно, и нечистоты нравственной и физической тоже отчаянно много. Прихожу всё более к заключению, что человеку порядочному и непьяному можно жить в деревне только скрепя сердце, и блажен русский интеллигент, живущий не в деревне, а на даче”. Это было одной из причин продажи усадьбы в Мелехове в 1899 году.

Деревянные двухэтажные дачи вокруг больших городов России после революции 1917 года превратились в коммунальные квартиры. Затем, когда Москва и Ленинград застраивались все дальше от центра, съедая дачные поселки, от прежней деревянной архитектуры сохранились только случайно уцелевшие здания.

Уже в конце XIX века наметилось строительство иных дач – богатых, роскошных каменных строений, в красивой местности, в отдалении от города и деревенского люда. Такие “новые дачи” могли позволить себе крупные промышленники, возводившие дворцы-особняки по берегам Москвы-реки, по Брестской (Белорусской) железной дороге. Эти дворцы целы поныне и служили не одно десятилетие как государственные дачи и санатории для высших чинов в нашей стране.

Чтобы представить себе, какие изменения претерпел смысл слова *дача* за это время, обратимся сначала к чеховскому описанию: “...она стала просить мужа, чтобы он купил небольшой участок земли и выстроил здесь дачу. Муж послушался. Купили двадцать десятин земли и на высоком берегу, на полянке, где раньше бродили обручановские коровы, построили красивый двухэтажный дом с террасой, с балкона-

ми, с башней и со шпилем, на котором по воскресеньям взвизывался флаг, – построили в какие-нибудь три месяца, и потом всю зиму сажали большие деревья, и когда наступила весна, и всё зазеленело кругом, в новой усадьбе были уже аллеи..., бил фонтанчик... И уже было название у этой усадьбы: – Новая дача {...}

В новом имении, рассказывал он [кучер], не будут ни пахать, ни сеять, а будут только жить в свое удовольствие, жить только для того, чтобы дышать чистым воздухом”; "...на террасе сидел инженер с семьей и пил чай”; “Новая дача давно продана; теперь она принадлежит какому-то чиновнику, который в праздники приезжает сюда из города с семейством, пьет на террасе чай и потом уезжает обратно в город” (Чехов. Новая дача).

Из приведенных отрывков попробуем установить, что называлось дачей в чеховские времена. Первое, что бросается в глаза, – это синонимическое употребление слов *усадьба*, *имение*, *дача*. Обратимся за толкованием значений этих слов к Словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: “**Уса́дба**, 1. Отдельный дом с примыкающими к нему строениями, угодьями. *Крестьянская у. Помещицья у.* {...} 3. В сельской местности: участок земли при доме. *В деревне у него дом и у.* // *уменьш. усадебка* (к 1 и 3 знач.) // *прил. усадебный*”; “**Име́ние**, 1. Поместье, земельное владение. *Помещицье и. Государственное и.* (в царской России)”; “**Да́ча**, 1. Загородный дом, обычно для летнего отдыха. *Снять дачу* {...} // *прил. дачный*, -ая, -ое. *Дачная мебель. Дачная местность*” (Толковый словарь русского языка. М., 1992).

В рассказе А.П. Чехова “Новая дача” слово *дача* “вбирает” в себя все значения, указанные в Словаре Ожегова и Шведовой: это и земля, и дом.

Примечателен второй абзац. В нем определено основное назначение дачи как “места для летнего отдыха”, что для современников Чехова, особенно, судя по довольно эмоциональному и пространному рассказу кучера, было в диковинку.

Впрочем стоит отметить, что во времена Чехова слово *дача* наполнялось разным смыслом. Часто оно встречается в переписке писателя с сентября 1898 года, когда он приехал в Ялту. Весь этот курортный город, застроенный красивыми, оригинальной архитектуры домами, в которых квартиры сдавались либо отдыхающим, либо приезжавшим на лечение туберкулезным больным, привлекал людей скорее для лечения, чем для праздного времяпрепровождения. При этом в Ялте одни здания назывались *домами*, другие – *дачами*. Например, художник Р.Ф. Ярцев сдавал в своем доме квартиры (у него жил М. Горький), и в адресах его дом именовался *домом*. Дом этот, многоэтажное сооружение, существует и поныне.

Чехов в сентябре 1898 года поселился по адресу: “Ялта, дача Бушева, вокруг которой был “большой сад”. В одном из писем он назы-

вал эту дачу *домом*. Затем он перебрался на дачу *Иванова*, которая его не устраивала. В то же время врач и писатель С.Я. Елпатьевский строит себе *трехэтажный дом*. Затем Чехов переселяется на дачу К.М. Иловайской “Омюр”. Это здание существует и сейчас и именуется *дачей*, хотя имеет два этажа. В конце октября 1899 года Чехов уже поселился в своем доме, как он называет его в письмах. Очевидно, не было строгих правил, как называть в Ялте здания, по каким признакам. Уже в 1901 году в завещательном письме Чехова от 3 августа на имя сестры сказано, что он завещает ей *дачу* в Ялте, а Ольге Леонардовне – *дачу* в Гурзуфе. Домик в Гурзуфе, действительно, очень мал, он состоит всего из двух комнат. Его теперь часто называют домиком Ольги Леонардовны, а многокомнатный дом Чехова в Ялте – *домиком* или *дачей*.

После смерти Чехова в печати появилось множество мемуаров; в них дом Чехова часто назывался *Белой дачей*. В воспоминаниях А.И. Куприна “Памяти Чехова” (1905 г.) подробно описана *дача Чехова* – “вся белая, чистая, легкая”. В апреле 1999 года в Доме-музее А.П. Чехова в Ялте прошла научная конференция на тему: “К 100-летию Белой дачи”. Сейчас словосочетание *Белая дача* и официальное название *Дом-музей А.П. Чехова в Ялте* являются синонимами.

Итак, во времена Чехова *дача* становится местом летнего отдыха городских жителей. Интересные сведения на этот счет содержатся в “Российском историко-бытовом словаре”: там одно из значений этого слова толкуется как “загородное благоустроенное место отдыха летом”. При этом отмечается, что в этом смысле *дача* – явление позднее, незафиксированное в старых словарях. Время появления дач приходится в основном на 2-ю половину XIX века, когда, с одной стороны, быстро росли города и в них развивалась промышленность, с другой – разорялось дворянство и распродавались имения, оставляя себе только усадьбу для летнего отдыха. В них существовал особый дачный уклад: молодежь культивировала спортивные игры на воздухе (крокет, крикет, лаун-теннис и др.), катались на лодках и лошадях, пускались в легкий флирт. Развлекались на даче также живыми картинами, любительскими спектаклями и концертами (Российский историко-бытовой словарь. М., 1999). Это же значение зафиксировано и в современных толковых словарях, в частности, в “Толковом словаре русского языка” С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой.

Между тем, современное содержание понятия “дача” не исчерпывается “местом для летнего отдыха”. Это еще и: 1) показатель социального статуса человека, семьи, уровня благосостояния; 2) место выращивания овощей и фруктов, которые составляют существенную часть рациона как летом (свежие овощи, ягоды и фрукты), так и в зимнее время (консервированные). Особенно ярко это представлено в редакции-толковании слова-стимула *дачник* рядовым носителем язы-

ка: “человек, который работает на даче”. Для чеховских “дачников” само сочетание слов *дача* и *работать* представлялось, скорее всего, несовместимым.

Вот так “круг” значений слов *имение, поместье, усадьба, дача*, “замкнулся”. Хотя не исключено, что грядущие поколения русских еще вернут слову *дача* его прежний, “чеховский”, смысл.



О правописании гласных *О* и *Ё* после шипящих

В. Г. ЗДАНКЕВИЧ

Обозначение на письме ударных гласных обычно определяется непосредственно произношением. Например, в словах *дóмик*, *травка*, *речка*, *спичка*, *трубка*, *рыбка* опора на произношение позволяет безошибочно определить, какие нужны здесь гласные буквы.

На особом положении находится передача на письме ударного гласного *о*, когда он следует за шипящими, так как его буквенное обозначение может быть двухвариантным – *о* или *ё*. Употребление этих гласных определяется специальными правилами.

Учебные пособия обычно рекомендуют писать в корне слова *ё*, если произносимый *о* чередуется с *е* в родственных словах или других формах того же слова, например: *жёны* – *жена*, *женский*; *шёпот* – *шептать*, *шепчешь*; *щёлка* – *цель*; *щёлочь* – *щелочной*.

Там же, где такое чередование отсутствует, следует писать *о*, например, *жом*, *крыжовник*, *чопорный*, *шов*, *шорох*, *шорты*.

Для выбора *о* или *ё* после шипящих в суффиксах пишущим предлагается запомнить и учитывать в процессе письма внушительный перечень суффиксов существительных, отыменных и отглагольных прилагательных, причастий, наречий. А в окончаниях выбор этих гласных рекомендуется устанавливать, учитывая, с чем соотносительны проверяемые слова – с именным или глагольным словообразованием.

Все эти рекомендации достаточно сложны для запоминания. Практика показывает, что ученики, во-первых, путают правила, регулирующие выбор гласных *о* и *ё* в корнях слов и в суффиксах и окончаниях.

(Букву *ё* пишут, например, в словах *грушовка, изжога, книжонка, речонка, ножонка, горшочек, врачом, лапшой, свежо*, сопоставляя их со словами *грушевый, изжечь, жечь, книжечка, реченька, ноженьки, горшечник, горшечный, врачевать, лечебный, лапшевник, свежесть, свежее*.)

Во-вторых, среди имеющихся родственных слов ученик может и не обнаружить опорного слова с гласной *е* и поэтому напишет букву *о*, например, в словах *жестко, щёкот, чётки, чёткий, чётче, возжжённый, чёботы, кручёный, тушёнка, тушёвка* и т.п.

Для выбора гласных *о* и *ё* после шипящих мы предлагаем два практических правила:

1. После корня в словах, не соотносительных с глаголами, и в нескольких словах, которые нужно запомнить, пишется буква *о*.

Например: *медвежонок, пирожок, сучок, ремешок; ежовый, кумачовый, большой, холщовый; ножом, врачом, свечой, ковшом, лапшой; свежо, горячо, гольшом, общо* (но: *ещё*); запомнить: *изжога, обжора, прожорливый, мажорный, чокаться, чопорный, шов, шомпол, шорты, шоры, шорох, крыжовник, трущоба, трещотка*; существительные *ожог, поджог, пережог, прожог* (на руке *ожог*, совершён *поджог*, допущен *пережог металла*, на ткани *прожог*).

2. В остальных случаях после шипящих следует писать букву *ё*.

Например: в корнях – *жёлудь, чёлка, шёпот, щёлочь, причёска, жёсткий, чёрный, шёлковый, щёточный; о чём, нипочём, причём* (от местоимения *что*); в глаголах – *бережёшь, печёт, затушёвывать, разжёвывать*; в словах, соотносительных с глаголами – *вооружённый, вооружён, освещённый, освещён, ночёвка, тушёнка, дирижёр, ретушёр, ухажёр* (от глаголов *вооружить, осветить, ночевать, дирижировать, ретушировать, ухаживать*); запомнить: в глаголах *ожёг, поджёг, пережёг, прожёг* – буква *ё* (*ожёг руку, поджёг дрова, пережёг металл, прожёг ткань*).

Примечание. В некоторых иноязычных словах буква *о* пишется после шипящих и в безударном положении, например: *жокей, жонглёр, шокировать, шоколад, шоссе, шофёр, шовинизм, шопениана, Шотландия* и др.

Запятая при однородных членах с союзами

1. Запятая ставится между всеми однородными членами при наличии у них повторяющихся союзов: “В нем была *и* неподдельная глубокая страсть, *и* молодость, *и* сила, *и* грустная скорбь”.

2. Запятая ставится между всеми однородными членами и тогда, когда только часть их связана повторяющимися союзами: “Листья в поле пожелтели, *и* кружатся, *и* летят”; “Он слеп, упрям, нетерпелив, *и* легкомыслен, *и* кичлив”; “Весь вечер Ленский был рассеян, *то* молчалив, *то* весел вновь”.

3. Запятая не ставится, если два однородных члена с союзом *и* образуют тесно связанную по смыслу пару, соединенную союзом *и* с третьим однородным членом: “Вода давно сбыла в Тереке и быстро сбегала и сохла по канавам”; “Я стал усиленно посещать музеи и разные выставки и прилежно читал”.

4. Запятая не ставится, когда образуется тесное смысловое единство: “Кругом было и светло и зелено”; “Он был и весел и печален”.

Но при наличии пояснительных слов при одном из двух однородных членов запятая между ними ставится: “Срубленные осины придавили собой и траву, и мелкий кустарник”; “Все вокруг переменялось: и природа, и характер леса.”

Л. К. Граудина, Г. И. Кочеткова. РУССКАЯ РИТОРИКА

Книга Л.К. Граудиной и Г.И. Кочетковой “Русская риторика” (М., 2001) знакомит читателя с богатейшей русской литературой по риторике и лучшими образцами красноречия в разных его родах и видах. В связи с этим нельзя не вспомнить другую книгу почти с таким же названием, вышедшую в свет в 1996 году: “Русская риторика. Хрестоматия” (автор-составитель Л.К. Граудина).

Новая книга главным образом предназначена для занятий по риторике в гуманитарных вузах (на первых курсах) и в старших классах гимназий, лицеев и средних школ.

Интерес к риторике, к искусству красноречия продолжает расти не в одной лишь среде учителей-словесников, но и в самых, казалось бы, далеких от филологии кругах интеллигенции. Сегодня этот интерес диктуется пересмотром принципов гуманитарного образования, прогрессивными изменениями в этой области, которые не без трудностей и преодоления сложившейся косной традиции настойчиво пробивают себе дорогу в жизнь.

Обратим внимание на особенности “Русской риторики” 2001-го года. Здесь показаны истоки и самые крупные этапы истории русской риторики. Этому посвящены разделы книги – “Истоки красноречия” и “Традиции красноречия в России”. В книге содержатся относительно завершённые описания наиболее известных русских риториков в тесной связи с жизнью ученых, преподавателей и других деятелей, работавших в этой области. Таковы страницы, посвященные риторическим идеям Ф. Прокоповича, М.В. Ломоносова, М.М. Сперанского, Н.Я. Кошанского, А.И. Галича и др. При этом достаточно глубоко разработаны разделы, касающиеся современного обучения риторике и культуры речи как сложившейся научной дисциплины. Это особенно ярко выражено в части книги, названной “Риторика, культура речи и нормы современного литературного языка”. В книге также освещены особенности и нормы речи в разных стилях, ситуациях и жанрах.

В содержании книги проявляется активная социально-историческая позиция авторов. Организационный центр, или стержень, повествования составляют задачи воспитания языковой личности. Авторы ориентировались на то, чтобы в разработку темы были включены три необходимых компонента: 1. Изучение теории – изложение основных правил риторики, характеристика специфики речевого общения в зависимости от типов коммуникации (диалог, спор, выступление, поздравление, комплимент и т.п.). 2. Изучение ораторских образцов прошлого и настоящего, дающих возможность наглядно показать, как

формируется “имидж говорящего” (в современной терминологии), с одной стороны, а с другой – уяснить конкретные приемы и средства речевого воздействия с помощью хорошего литературного языка. 3. Обязательные упражнения в составлении и произнесении речей, словом, собственное языковое творчество, которое формируется под руководством опытного наставника. Этой стороне обучения способствуют те вопросы, задания и упражнения, которые приводятся в конце каждого параграфа.

Особенно важна философско-нравственная направленность книги, чего в современной литературе, в том числе, и учебной, заметно не хватает. Кстати, эта направленность была свойственна всем античным трудам по риторике. В России это направление развивали М.В. Ломоносов, затем Н.Ф. Кошанский и А.И. Галич – лицейские учителя А.С. Пушкина, русские судебные ораторы XIX века. Вопросы, которые волновали их: нравственные требования к оратору; выбор позиции автора публичного текста; овладение культурой несогласия, выработка корректного отношения к оппоненту в споре и т.д.

Авторам книги близка точка зрения русского философа И. Ильина, который считал, что русский учитель и ученый должен вносить в свою работу, в свою деятельность не политические идеологии, а “начала сердца, творческой свободы и живой ответственности совести”. В наше время ученый должен “зреть в каждой детали русской истории дух и судьбу своего народа, растить и укреплять правовую интуицию... созерцать целостную жизнь изучаемого языка”.

Такая позиция авторов представляется вполне оправданной. Она нашла рельефное выражение в главах об академическом красноречии, о споре, о судебном и духовном красноречии. В современных риториках эти проблемы обычно не затрагиваются. Между тем в наши дни, как никогда, возросла актуальность таких ценностей, как вера и нравственность. Здесь мастерство речи обращено не к внешнему, а к внутреннему миру каждого человека. В “Русской риторике” большое внимание уделено церковнославянскому языку. С интересом читаются афоризмы христианских мыслителей Блаженного Августина, Златоуста, Св. Ефрема Сирина, Митрополита Филарета и других. Ценно и то, что в отдельных параграфах раздела по родам и видам речи, посвященных речевому этикету, искусству спора, судебному и академическому красноречию, приводится система правил, которых должен придерживаться говорящий в определенных ситуациях и жанрах речевого общения. Этих правил мы не найдем ни в русской стилистике, ни, тем более, в русской грамматике. Коммуникативно-прагматическая направленность книги с этой точки зрения очевидна и полезна.

Характеристика речевой деятельности дополнена здесь информацией о качествах речи. Это прежде всего точность, ясность, уместность речи. Рассмотрены и такие качества, как богатство речи, ее

красота, благозвучие и выразительность. В современной практике обучения весьма слабо представлена орнаментальная часть риторики. Как известно, основу орнаментального раздела риторики составляет учение о тропах и фигурах. Удовлетворительная концепция выразительности речи не может быть воплощена в жизнь, если обойти вниманием эти явления. В книге приводится не только приемлемая классификация тропов и фигур, но и на ярких примерах показано, как их применение усиливает изобразительность речи, ее красоту и в конечном итоге ее эффективность. Сами авторы, как замечает в своем печатном отклике на эту книгу журналист Сергей Быков, пишут “легко и доступно. Предмет излагается ясно и увлекательно” (см. газету “Тверская, 13”. 2002. 7 марта). Например, в главе об остроумии приводятся прекрасные иллюстрации. Можно воспроизвести две из них: «В молодости Бернард Шоу вел в лондонской газете музыкальную критику. О концерте хора врачей он отозвался кратко: “Вчера пели медики. Им надо еще раз напомнить об их врачебном долге – сохранять молчание”» (С. 544). Прием остроумного применения фигуры противопоставления используется и в шутке, обрисовывающей психологический портрет адвоката: “Выиграв дело, адвокаты говорят своим клиентам – мы выиграли, а проиграв – мы проиграли” (Там же).

Несомненно плодотворным представляется избранный авторами подход к изложению всего материала. Можно привести весомые аргументы в пользу риторики как самостоятельного учебного предмета: 1) ее духовно-эстетическое и нравственное содержание; 2) актуальные и хорошо разработанные принципы обучения речи; 3) развитая методическая сторона этого предмета. Все эти достижения риторики, которые были утрачены со времени ее запрета, нашли свое отражение и применение в интересной книге Л.К. Граудиной и Г.И. Кочетковой. Их труд может быть очень полезен при разработке учебного комплекса по риторике в новых государственных образовательных стандартах.

В.Г. Костомаров,
действительный член Российской
академии образования

С. И. Карцевский. ИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

В мире русской филологии, искусственно разделенной на “наших” и “скитальцев” – тех, кто по разным причинам оказался вне родины и служил долгие годы отечественной науке в отрыве от нее, есть особые фигуры, стоявшие, пожалуй, особняком и до сих пор не получившие широкого признания в России. Об известном языковеде С.И. Карцевском так сказать нельзя в полной мере, хотя его научные труды (прежде всего по современному языкознанию) почти не находят применения в вузах. Причиной тому, возможно, было то, что его начиная с конца 1920-х годов не издавали в России, а значительную часть филологического наследия ученого составили работы на французском языке, опубликованные, как правило, в недоступных для нашей аудитории изданиях 1930–1950-х гг. Поэтому имя С.И. Карцевского, столь известное европейским лингвистам, дома почитается только знатоками и ценителями “древностей”. При этом забывается, что именно там, в революционной (в прямом и переносном смысле) полемике 1920-х годов, и покоятся основы подлинного филологического смысла современного языкознания, те идеи и разработки, которые опередили и в чем-то предвосхитили развитие отечественной науки. Поэтому выход из печати тома избранных трудов С.И. Карцевского, осуществленный издательством “Языки русской культуры” (М., 2000), очень своевременен, так как открывает российским читателям неизвестного и забытого С.И. Карцевского – одного из активных участников Пражского лингвистического кружка.

Представляемая книга тематически объединяет четыре раздела: I. Работы по теории языка. II. Работы по лексике русского языка первой четверти XX века. III. Рецензии. IV. Приложение.

Самая объемная часть – теория русского языкознания – освещает дискуссионные проблемы формально-грамматического направления в отечественной филологии 1920-х гг., когда и здесь, и за границей наши ученые вели острую полемику о том, как следует разрабатывать и преподавать теоретические вопросы грамматики. Наряду с апологетами этого направления, в известной мере находившимися под влиянием и продолжавшими традиции фортунатовской школы (Д.Н. Ушаков, Н.Н. Дурново, А.М. Пешковский и др.), С.И. Карцевский не принимает полностью эту “моду”, имевшую в 1920-е годы немало сторонников и пропагандистов. “Под административным давлением, – пишет он, – грамматический формализм рискует превратиться в своего рода защитный цвет для несчастных “шкрабов” (С. 25–26). Свои

взгляды на эту проблему и полемику он высказал в работе “О формально-грамматическом направлении”, где камнем преткновения стал вопрос о форме, решаемый последователями Ф.Ф. Фортунатова и С.И. Карцевским неодинаково. После ряда метких замечаний (он осуществляет прямо-таки подробнейший разбор тезисов своих оппонентов) в заключительных аккордах статьи автор делает такое обобщение: «Мы пользуемся речью не только для выражения понятий и суждений. Кроме этой “интеллектуальной” функции, она выполняет еще и другую, не менее важную, хотя и прямо противоположную: – она служит нам для выявления наших чувств в целях заражения ими наших собеседников. Оба плана – интеллектуальный и эмоциональный – в практической жизни постоянно скрещиваются. Речь отражает возникающие при этом конфликты: ее логическая основа постоянно разрушается под натиском “психологии” и вновь восстанавливается сознанием говорящих. Эта двойственность речи двойит и язык, как в области словаря, так и в области грамматики» (С. 38–39). И далее: “Здесь лежит одна из важнейших проблем языкознания, но формалисты-грамматисты ее не замечают” (С. 39). С.И. Карцевский иллюстрирует этот тезис следующим примером: “Большинство слов, – говорит он, – предназначено не к тому, чтобы определять и называть, но к тому, чтобы описывать, взывать к вашему воображению, быть экспрессивными. Поэтому слова (не термины) имеют по несколько значений: напр., *кобыла* – самка лошади, орудие пытки, гимнастический аппарат, бранное слово и т.д.” (Там же).

Другой аргумент ученого также кажется весьма смелым (особенно в ту пору). “Дело в том, – замечает он, – что *синхрония* не означает *неподвижность*” (С. 41). Это еще один тезис, разводящий “официальных” и “неофициальных” формалистов. Первые, по его мнению, “подходя к языковому механизму, останавливают его, начинают разбирать на части и описывать эти части – это они и считают статикой. Но ведь назначение машины – действовать, а назначение языка функционировать как орудие *обмена мыслями и чувствами* (курсив наш. – О.Н.) между членами одного языкового коллектива” (Там же).

Рассуждая далее, Карцевский подчеркивает, что знания, открытия и гипотезы ученых призваны в конечном счете способствовать грамотному усвоению системы родного языка и овладению культурой родной речи. Он приходит к следующему выводу: “Старшие классы школы должны дать учащимся ряд *научных* (здесь и далее курсив наш. – О.Н.) сведений о языке. До сих пор наше общество отличалось в этом отношении *полным неведением*. Сюда войдут и сведения о русской звуковой системе и об отношениях между произношением и написанием. На младшей же ступени подобного рода сведения не должны выходить за пределы минимума, устанавливаемого конкретными потребностями школьной работы, напр., орфографии. Во всем же ос-

тальном нужно иметь в виду *духовную, смысловую сторону родной речи* (курсив автора. – *О.Н.*), систему значимостей, а не *мертвый анализ*, в результате которого живая ткань языка произвольно режется на ни к чему не годные куски” (С. 45).

Здесь стоит заметить, что принципиальность С.И. Карцевского-ученого и остро полемическая направленность некоторых его оценок не оставила равнодушными последователей Фортунатова. Но если материалы этой дискуссии, явившейся камнем преткновения грамматистов 1920-х гг., довольно хорошо отражены в периодических изданиях тех лет и книгах, то всегда бывает любопытно заглянуть по ту сторону официальной лингвистики, нередко приоткрывающую потаенные струны человеческой интуиции. Так, один такой фрагмент был подмечен нами при изучении научного наследия М.Н. Петерсона. Н.Н. Дурново в письме к нему 1926 г. неожиданно парирует: “Карцевский во всех статьях *бранит* (здесь и далее курсив наш. – *О.Н.*) формалистов, а когда переходит от общих фраз к делу, проделывает *очень хорошую работу*, нисколько не идущую в разрез с формальным направлением” (Архив РАН. Ф. 696. Оп. 1. Ед. хр. № 192. Л. 1).

На страницах рецензируемой книги ставятся и другие вопросы в области теории русского языка и, что важно, способов ее практического применения в учебной работе. Этому были посвящены многие труды С.И. Карцевского. Из них отметим статьи, включенные в книгу и остающиеся остро актуальными в наши дни: “По поводу одного вопроса морфологии”, “К вопросу о залогах в современном русском литературном языке”, “О структуре русского существительного”, “Бессоюзие и подчинение в русском языке”, “Сравнение”, «Предисловие к книге “Русский язык. Часть 1. Грамматика”».

Особо следует сказать о переиздаваемом учебнике С.И. Карцевского “Повторительный курс русского языка”, впервые выпущенном в 1928 году. Эту книгу трудно даже назвать учебником в принятом понимании слова, с его определенным догматизмом, который, впрочем, и не отрицается ученым на завершающей стадии обучения, ибо “только он один способен дать ученику в к о р о т к и й (здесь и далее рядка автора. – *О.Н.*) срок *цельное, стройное и четко оформленное* представление о предмете” (С. 99). Курс С.И. Карцевского при наличии кодекса “грамматических истин” пронизывает “дух научного исследования”, с его экспериментальностью, обращением к читателю не только как к “потребителю” учебной продукции, но и как к *соучастнику* и, если угодно, *разработчику* процесса, заинтересованному не в простом изложении фактов языка, а в направлении внимания учащихся к разным сторонам предмета, стимуляции того “эмоционального поля”, на почве которого может возникнуть подлинный интерес к языку. Уже в начале книги автор делает не совсем удобный (для грамматистов) акцент, определяя им и

смысл предмета, и его назначение: “Первое, самое главное убеждение, которое (...) учащийся должен вынести из этой книжки, это – то, что язык есть социальное установление” (С. 101).

Мы не станем подробно останавливаться на главах учебника С.И. Карцевского. Каждый при желании может ознакомиться с ними самостоятельно. Скажем только, что при внешне традиционной схеме курса (Наша речь. Строение фразы. Строение слова. Существительные. Глаголы. Прилагательные. Наречия. Служебные слова. Звуковое строение речи. Письмо и орфография) его отличают немеханический, развивающий характер академического изложения, богатство и последовательность иллюстративной базы, умение понимать и слушать и, как следствие – обращенность к будущим читателям, которые, надеемся, найдут в нем немало новых, перспективных и живых идей.

Заслуживают внимания и работы, помещенные составителем книги в других разделах. Это весьма любопытные наблюдения С.И. Карцевского над социалингвистикой родного языка. Всплеск подобных трудов (см., например, статьи и книги Е.Д. Поливанова, В.Б. Шкловского, А.М. Селищева, Г.О. Винокура и др.) в 1920-е годы объясняется не только сменой поколений лингвистов и идеологии, но и появлением большого количества новых слов и явлений, повышенным вниманием к внешней стороне языка и его носителям. В книге публикуются такие труды ученого, как “Русский язык и революция”, “Халтура”, “Язык, война и революция”. Последняя работа, изданная впервые в Берлине в 1923 г. в виде отдельной брошюры, – итог личных наблюдений ученого о влиянии войны и революции на русский язык; здесь же сделана попытка определить и значение словесного самовыражения тех лет для всей системы русского языка.

Третий раздел книги – “Рецензии” – включил в себя наиболее заметные, по мнению составителя, авторские миниатюры ученого, откликавшегося на исследования своих коллег всегда лаконичными, острыми и деловыми отзывами. Здесь представлены рецензии С.И. Карцевского на книги Г.О. Винокура “Культура языка. Очерки лингвистической технологии” (1925), журнал “Родной язык и школа”, сборник статей “Методика родного языка. Лингвистика. Стилистика. Поэтика” (1925) А.М. Пешковского, а также его замечания по поводу учебников последнего, отзывы об издании “Синтаксиса русского языка” (1925) А.А. Шахматова и о книге Ш. Балли “Язык и жизнь” (1926).

Последний раздел книги – “Приложения” – будет интересен историкам науки, так как содержит впервые издаваемые материалы заседаний Московской диалектологической комиссии. С.И. Карцевский еще до отъезда за рубеж принимал деятельное участие в ее работе: выступал с докладами, вел полемику с присутствующими, главным

образом, по проблемам морфологии русского языка. Здесь примечательны не только тезисы выступлений С.И. Карцевского, но и подлинные фрагменты дискуссии, в которой принимали участие корифеи науки тех лет: М.Н. Петерсон, Н.Н. Дурново, Д.Н. Ушаков, А.М. Пешковский и др., а также еще совсем молодые П.Г. Богатырев, Р.О. Яacobсон, Г.О. Винокур. Публикуемые протоколы раскрывают многие неизвестные эпизоды деятельности комиссии; именно там, в ее недрах, отчасти и зарождались будущие фундаментальные труды С.И. Карцевского.

В заключение стоит сказать несколько слов об авторе идеи переиздания научных работ С.И. Карцевского – профессоре Университета Шарля де Голля (Франция) И.И. Фужерон, подготовившей к изданию настоящую книгу. Перед ней стояла непростая задача отбора и комментирования текстов. Но мы хотим отметить прежде всего тот факт, что автор отлично знает не только французские архивы С.И. Карцевского, но также проводит разыскательскую работу в России, итогом которой были публикации в этой книге неизданной ранее рукописи статьи “К вопросу о залогах в современном русском языке” и интереснейших протоколов заседаний Московской диалектологической комиссии 1918 года. Когда эта рецензия уже была написана, в издательстве нам сообщили, что готовится к изданию еще один том трудов С.И. Карцевского – плод неустанной деятельности г-жи И.И. Фужерон. Надеемся, что в нем будут представлены и другие грани филологических исследований самобытного русского ученого и педагога.

О.В. Никитин



Многозначное слово и многозначное число

ЭР. ХАН-ПИРА,

кандидат филологических наук

Читатель выразил сомнение в правильности встретившегося ему сочетания *трехзначное слово*: однозначным, двузначным и т.д., по его мнению, может быть лишь число, но никак не слово.

Конечно, можно ограничиться в ответ на это цитатами из словарей. Например, из Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: “*Однозначный*¹... 2. Имеющий только одно значение. *Однозначное слово*...”; “*Однозначный*²... Обозначенный одной цифрой. *Однозначное число*...”; “*Двузначный*¹... Состоящий из двух цифр. *Двузначное число*...”; “*Двузначный*²... Имеющий два значения. *Двузначное выражение*...”; “*Многозначный*¹... О числе: состоящий из многих цифровых знаков. *Многозначное число*...”; “*Многозначный*²... Имеющий много значений. *Многозначное слово*...”.

Если существуют омонимы *однозначный* и *однозначный*, *двузначный* и *двузначный*, *многозначный* и *многозначный*, то почему не могут быть на тех же основаниях омонимы *трехзначный* и *трехзначный* и т.д.? Словарь не обязан всех их регистрировать. Словарь вправе надеяться на сообразительность пользователей.

Сомнение читателя позволяет, а вернее, требует расширить ответ.

Например слово *семьсот*. Это один словесный знак, называющий определенное число; русское количественное числительное. Названное данным словом число можно изобразить цифровыми знаками (цифрами) – 700. А это уже иероглиф. Он интернационален: его одинаково понимают люди, говорящие на разных языках, но произносят как числительное родного языка. И если цифра – это знак (у цифры есть, как и положено знаку в его семиотическом понимании, две стороны: материальная, видимая, и идеальная – числовое значение), то вот фонемы, из которых складывается числительное, и буквы (как таковые), передающие это числительное, не знаки. Когда говорят и пишут *двузначное*, *трехзначное* и т.д. число, имеют в виду количество цифр, визуально передающих, обозначающих число. Вторая часть этих сложных прилагательных формально образована от основы слова *значе-*

ние, а по существу – от корня *знак*. Здесь случай ложно ориентирующей словообразовательной внутренней формы слова (напомню: внутренняя форма может быть словообразовательной, семантической и звуковой).

Когда же говорят и пишут, что некое слово не однозначное, а многозначное, разумеют его обладание более чем одним значением. Эти сложные прилагательные образованы и формально и по существу от основы слова *значение*. У них верно ориентирующая внутренняя форма.

Как-то на семинаре я предложил студентам обсудить этот случай омонимичности; студентка сказала, что применительно к числу точнее употреблять прилагательное *многознаковый*. Да, такое употребление убрало бы путающую омонимичность: у этого слова верно ориентирующая внутренняя форма. И мирно сосуществовали бы *многознаковость числа* и *многозначность слова*, *трехзнаковость* и *трехзначность*, т.е. на смену омонимии пришла бы полная паронимия.

Уточнения в терминологию вносить легче, чем в неспециальные области лексики: тут гораздо меньше пользователей, здесь проще условиться. В.Г. Белинский писал *идиотизмы* языка, мы говорим и пишем *идиомы*. Лингвисты XIX в. *этимологией* называли то, что давно уже именуется *морфологией*. В XX в. избавились от омонимии *диалектический* и *диалектический*, начав употреблять *диалектный* (*диалектное слово*, *диалектные различия*), оставив *диалектический* филологической терминологии. Однако некоторые ложно ориентирующие термины столь глубоко внедрились, что “вынедрить” их не решаются, не заменяют верно ориентирующими, например, *громоотвод* так и не уступил места *молниеотводу*.